

Виктор СЕРГИН

1

«БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО»

повесть

Логунков стоял в прихожей, покручивая ключи на пальце, ждал, когда мать закончит письмо. Попросила, чтобы он опустил его в ящик по пути на работу; тяжело ей вздыматься на шестой этаж, а лифт не работает. Мать уже надписывала конверт, когда раздался телефонный звонок.

Логунков поднял трубку. Треск в ней сменился шелестящим шумом, и далёкий женский голос спросил:

— Это квартира Логунковых?

— Да, — резко ответил он.

Тот же голос, но как бы и другой, окрепший, словно бы справившийся с собой, отчётливо произнес:

— Мне бы Владимира.

— Да, это я. Слушаю вас.

— Володя, это Лида Сокина звонит, из Горска. Помнишь, наверно...

Логунков лихорадочно начал вспоминать и почти сразу вспомнил: когда он ещё мальчишкой жил в Горске, Лида Сокина была соседкой. Теперь, наверное, совсем пожилая, ей уже тогда было лет тридцать.

— Не знаю, как тебе и сказать... Алексей, зять ваш...

— Что — зять? — нетерпеливо спросил Логунков, почувствовав что-то в её голосе.

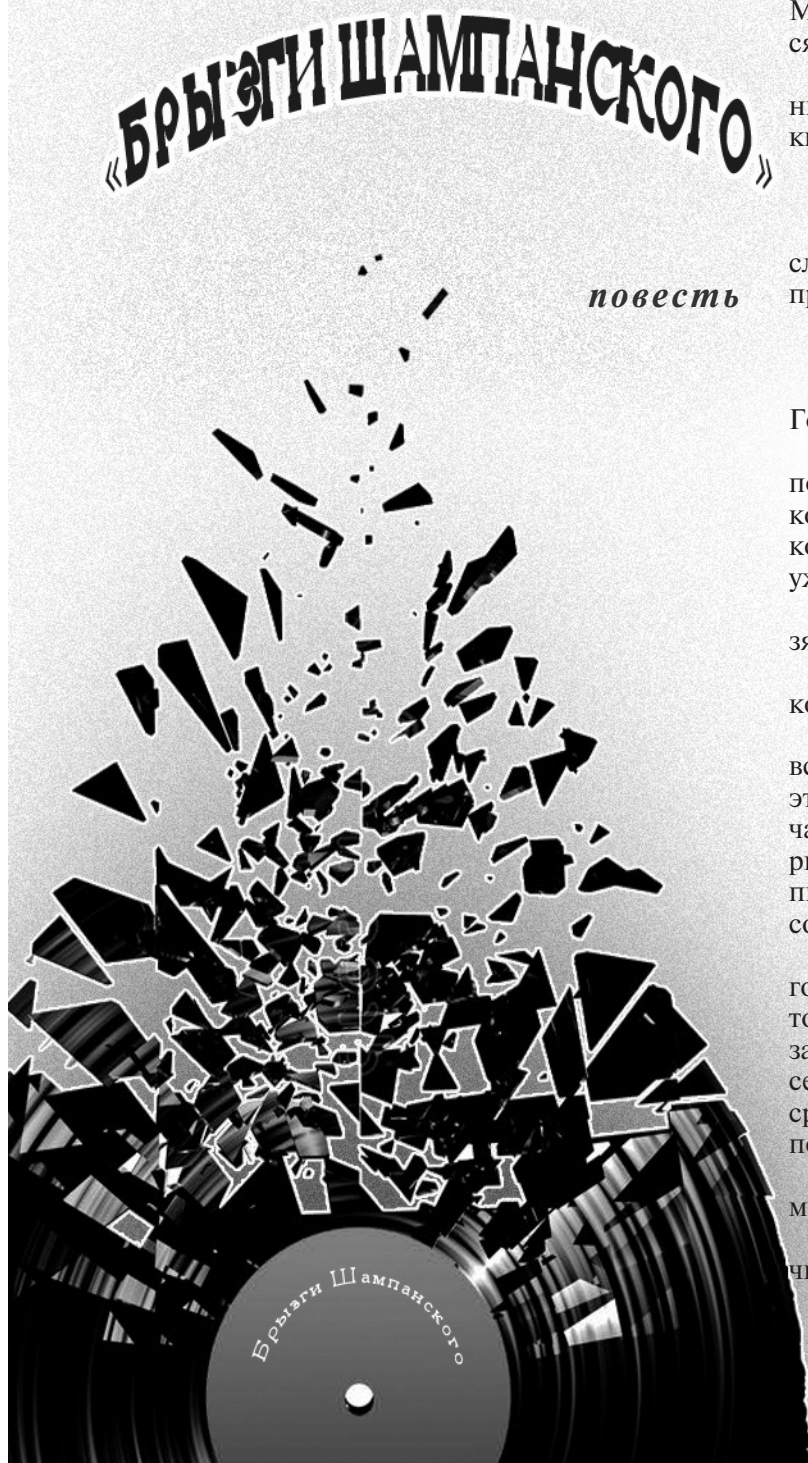
Зять работал электромонтёром на ЛЭП — всякое могло случиться, к тому же пил. На этой почве у них с женой, сестрой Логункова, часто были ссоры. Мать старалась их примирить, но на расстоянии разве что сделаешь, и письмо, что она сейчас написала, было адресовано им.

— Зять ваш, Алексей, — повторил в трубке голос, — помер, повесился... — и словно для того, чтобы перебить сказанное, как-то смазать, сгладить, в трубке зачастило: — Ваша сестра Вера велела мне позвонить, чтобы вы срочно приехали. Мы живём с ней в одном подъезде. Плохо с нею, приезжайте...

Логунков положил умолкнувшую трубку, а мать уже подходила с письмом в руках.

— Кто звонил? Из Горска? Что-нибудь случилось? Да говори же!

Логунков не успел подумать, надо ли сразу



сказать матери, — врасплох застала. По натуре он был тугодум, в таких случаях всегда терялся — говорил только правду. И теперь признался ей, что произошло в Горске.

На работе Владимира Логункова отпустили. Дальше ему предстояло самое трудное: сказать о случившемся племяннику, сыну сестры и умершего. Тот с женой и маленьким сынишкой жил в семейном общежитии.

Племянник Валентин работал по сменам, сегодня у него был выходной, и Логунков быстрым шагом, почти бегом, подходил к длинному многоэтажному зданию.

«Вот как сейчас прийти и сказать? Издалека ли начинать или уж сразу, прямо? Да тут хоть из какого далека ни начинай, а к точке всё равно подойдешь. Лучше уж сразу».

Сам он ещё не верил тому сообщению. Нет, он знал, что всё так и есть: врать или шутить не стали бы. Но не верилось, что Алексея уже нет в живых: нет его совсем, — нет, словно бы и не было. Ещё с месяц назад они приезжали с Верой на день рождения матери. Алексей тогда привёз большого свежего налима — сам же и поймал в створе ГЭС, где вода зимой не замерзала, — рыба там всегда водилась.

— ...Смотри, как это делается, — учил зять и ловко снял налимяшку — от головы до хвоста, чулком.

Знал Алексей, что Логунков не рыбак, но показывал, разрезая, разделявая рыбину в ванной на кухонной доске. И пальцы его ловко выскребывали внутренности, тёмные лепёшки запекшейся крови.

А потом Логунков слышал учащённое дыхание зятя. В магазин они торопились, который вот-вот должен был закрыться.

— Из налима знаешь какая уха?.. Ого! Разваристая, светлая... Самая лучшая уха зимой — из налима. А под уху-то оно хорошо! На вот, возьми пятёрку. Остальное она уже вывернула, сестрица твоя, а пятёрка у меня была спрятана.

— Да что ты, есть у меня деньги!

— Так я о том, чтобы вторую... Хотя «малыша»... Одной-то мало под уху будет, да и вечер длинный, поговорим, нечасто встречаемся.

Выпили тогда «под уху», накануне дня рождения, а вторую распивали тайком в комнате Логункова без всякой закуски и долго говори-

ли о разном. Все в квартире давно спали, а зять Алексей рассказывал о своей жизни, жаловался на жену.

— ...У меня до пятисот в месяц выходит, ого! Попробуй-ка по опорам в мороз да ветер ползать, зря ведь не платят. А как же! И всякие льготы... А как приду домой — короткое замыкание! Ну... веришь ли, все карманы вывернет, на папиросы — и на те выпрашиваешь, как цыган. Ковры, хрусталь — это ей в первую очередь. Да разве по-людски это, ведь я же человек! Фотография моя с доски передовиков не сходит — пожелтела вся. Говорят, новую давай. А мне опять просить, на фотографа-то, — хохотнул зять. — Ну её к лешему, давай ещё по одной тяпнем... Главное ведь что на земле? Человеком быть, человеком! Я, как поднимусь на опору, так, веришь ли, другим становлюсь, всё земное забываю. Эх!..

Перед Логунковым стояло сейчас красное, обветренное лицо зятя в резких глубоких морщинах, с мелкими чёрными угрями, виделась его всегда радостная, какая-то детская улыбка, слезились пьяной влагой синие глаза.

«Неужели его нет?! Быть не может! Надо ехать — и поскорей, поскорей, — Логункову казалось, что ещё можно что-то изменить: — Могли ведь и оживить в реанимационной. В наше-то время...»

Племянник возился с большим чёрным магнитофоном, он так и открыл дверь — с кассетой в руках.

— Проходи, дядя Володя. А я ленту перематываю, вчера хорошую запись Высоцкого достал.

— Да некогда, Валентин. Надо бы в Горск нам с тобой, с отцом твоим худо, я уже с работы отпросился.

— А что... что случилось? С матерью поскандалили?

— Да нет, похуже... Собирайся, поедем, нас там ждут.

Валентин быстро собрался, и дорогой — Логунков заметил про себя, что так было легче, на ходу, — рассказал о звонке из Горска и о том, что там произошло.

2

Валентину Лазарькову было тридцать лет — Мужик, можно сказать, и Логунков знал:

ни слёз, ни тем более истерики не будет. Так оно и вышло. Уже сидя в рейсовом автобусе, который ходил до Горска каждый час, Логунков почувствовал, как жмётся к нему внезапно притихший племянник, ещё пять минут назад без умолку, горячо говоривший о жизни отца с матерью — так, словно бы она продолжается. Логункову стало очень жаль его, и он сжал у локтя Валькину руку.

Дверь открыла сама Вера, возле неё стоял растерянный младший сын Толя, больше в квартире никого не было. Губы и крупный подбородок сестры дрожали, в глазах стояли слёзы.

— Где? — тихо, прямо с порога, не раздеваясь, спросил Логунков.

— В морг его недавно увезли, — плача, ответила она.

— И ничего нельзя было сделать? — только сейчас Логунков вспомнил, что сестра раньше работала в больнице, она медик.

— Толя утром на работу собрался, яичницу поджарил, а дверь в туалет была закрыта изнутри, свет там горел. Но наш Толя разве догадается... Да и кто знал! А я как раз под утро уснула. Он-то вчера нажравшись был, — изменила сестра голос, — храпел полночи да на кухню всё выходил курить. А у меня, знаешь ведь, давление, голову разламывало, не спала, а под утро уснула. Толя на работу ушёл, дверью хлопнул... Она у нас плохо закрывается, дергать надо. Хлопнул — я и проснулась. Смотрю, сапоги стоят в прихожей, а Алексею ведь тоже на работу... В туалете свет горит и закрыто изнутри. Я — в ванную, на табуретку встала, смотрю в окошечко: ремень! Сразу и догадалась... Не знаю, откуда и сила взялась: дверь несколько раз дёрнула, открыла, а он висит... В брюках тренировочных, а выше пояса — голый, он так и спал всегда.

Ножом ремень перерезала, повалила вот тут, стала искусственное дыхание делать, а вижу: уже пятнышки трупные по телу пошли. Позвала соседей, скорая, милиция приехали. Увезли...

Тоже, выбрал место! В своей квартире... Это он назло мне. Так и говорил: «Я тебе с-делаю!» Сделал...

Сестра прикрыла глаза ладонью, только теперь Логункову показалось, что у неё потекли настоящие слезы.

В туалете, на сгибе трубы, висел кусок ремня. Володя отвязал его и, не зная, куда деть, сунул в карман. Ведро с мусором возле унитаза было опрокинуто.

— Это так было или уже после? — спросил.

— Было. Это он опрокинул. Может, хотел, чтоб услышали... А этот, — махнула на младшего сына рукой, — хоть бы почувствовал, хоть бы догадался! Изнутри же туалет был закрыт... Да Алексей часто так делал: надолго закрывался, курил там, — сказала, как бы тут же оправдывая сына, который молча стоял и слушал. — Вчера вечером я долго не пускала его, на лестнице сидел — думала, пусть протренируется. И в выходной нажрался — ни водки, ни вина не продают... Такие везде сыщут.

— Ничего не оставил: записку или ещё что? — спросил Логунков.

— Да какую записку! Он и рубль-то запрячет — не найдёшь, — Вера рассмеялась, получилось это как-то нехорошо, не к месту.

— Надо в рабочей одежде посмотреть и в валенках, в субботу он в них с работы пришёл, — тихо сказал Толя.

— А где валенки? — спросил до этого не прозвизжавший ни слова Валентин.

Словно обрадованный, что нашлось дело, Толя достал с антресолей стопку рабочей одежды: хлопчатобумажные брюки и куртку, — стал искать по карманам.

В больших карманах ничего не было, и только из маленького верхнего на куртке Толя вытащил грязноватый листок. Когда развернул его, посмотрел поочередно на всех.

— Что там? — спросил Логунков.

«Будь ты проклята», — начал читать Толя и осёкся, глядя на мать.

Та какое-то время стояла ошеломленная, ничего не понимающая, широко раскрытыми глазами смотрела она на сына. Наконец до неё стало доходить: эта записка и всё, что там написано, касается её.

— Дай сюда! — протянула Вера руку.

Но Валентин перехватил листок и стал читать:

«Будь ты проклята! Радуйся, дождалась своего. Теперь живи. Не человек ты».

Валентин замолчал, и Логунков заглянул в записку через его плечо, на этих словах запись обрывалась.

— Сам он не человек! Сколько я с его пьянкой боролась, не один раз уже из петли снимала, — глухо завыв, сестра пошла в комнату, придерживаясь рукой стены, там и свалилась вниз лицом на диван.

Логунков — следом, стал успокаивать её, за чем-то полез в карман, натолкнулся на тугие извивы ремня и, как ужаленный, выдернул руку.

Остальное время до похорон прошло для Логункова как в тумане. В организации, где работал зять, дали грузовую машину с фургоном; мужики из бригады, в которой работал покойный, ездили в морг, потом — в лес за хвойным лапником, на кладбище, где рыли могилу. Во всех хлопотах участвовал Логунков, но как-то вяло, отстранённо. И только на какие-то мгновения перед ним остро и чётко обозначались люди, предметы — он для чего-то фиксировал их в памяти.

Например, в сумрачной и грязной бытовке его поразило, что мужики из бригады Алексея, сидя вокруг тёмного, замасленного стола, играли в домино. Когда Логунков с племянником вошли, то все почему-то встали и молча смотрели на них, словно ожидая чего-то. Несколько костяшек со стуком упали на цементный пол, но никто их не поднимал. В углу бытовки грудой лежали «когти», с помощью которых электромонтеры лазают по деревянным столбам. Перед входом на стене висела доска показателей, где среди других мелом была написана фамилия зятя «Лазарьков», а возле доски — несколько фотографий, с одной строго глядел Алексей.

Когда сидели в тряской машине на грязных лавках и фургон скрипел, подпрыгивал с прихлопом, Логункову показалось, что мужики чувствуют себя словно бы виноватыми, оттого и молчали, только изредка тихо переговаривались друг с другом. Ему захотелось как-то поблагодарить их за соучастие. Подумал: «Может быть, водки им потом купить?»

Когда вошли в морг, Логункова поразило, что не один зять там лежал: из-под простыней на топчанах темнели мужские и женские головы, а на стеллаже у самой стены — маленький ребенок с пустышкой во рту, ручки его были полусогнуты и приподняты — он походил на

куклу. «Ну да, конечно, больница вон какая рядом... Умирают...» — отмечал про себя Логунков. Неестественно важным показалось ему розово-синее лицо зятя, таким напыщенным и дутым он его никогда не видел. «Ах, как глупо! Глупо всё до невыразимости...»

Когда заносили гроб с покойником в квартиру, — в комнату, что попросторнее, — мешал стеллаж, заставленный дорогой посудой. Молодой парень упёрся было в него, чтобы чуть сдвинуть, но Вера встревоженно вскрикнула: мол, не трогайте, надо по-другому гроб повернуть. Тот парень, чтобы сгладить неловкость, неудачно сострил: раньше хоть хмельным, да живым заносили, — но никто из присутствовавших на него не шикнул.

Логунков понял, что мужикам тоже тяжела эта работа. Магазин — рядом, отлучился, купил три бутылки, захватив стаканы, пригласил всех в гараж зятя.

Молча пили, Логунков тоже выпил полстакана. А когда стал закрывать ворота, увидел с внутренней стороны бельевую верёвку, завязанную на пробое. «Да это же петля! — догадался он. — Значит, сначала здесь хотел...» Когда стал отвязывать, заметил несколько седых волосков, приставших к верёвке.

3

После похорон прошло три месяца. В письмах Вера писала, что нужно заказать памятник, — Логунков послал по почте денег. А вскоре сестру положили в больницу, и опять звонила Лида Сокина, просила приехать.

Прибыв в Горск, Логунков сразу же пошел в больницу. Сестра лежала в палате у окна, в ушах её посверкивали золотые серьги, на руках — перстень и два кольца. Мало того, под больничной рубашкой виднелась цепочка с медальоном.

— Зачем это, на бал, что ли, собралась? — стараясь улыбнуться, спросил Логунков.

— А ты, Володя, к нам домой разве не заходил? — спросила сестра жалобным голосом.

— Нет, а что?

— Толя уже третий день ко мне не приходит, — всхлипывая и глотая слёзы, начала свой рассказ Вера. — Пить стал... Я договорилась с на-

чальником гаража, чтобы аванс и получку Пашин Сашка приносил мне. Он вместе с Толей работает, серьёзный парень, сосед наш. Так Толя теперь из дома стал тащить. Грубит мне. Мотоцикл, говорит, продам. Вот я и взяла с собой, — показала глазами на кольца, — мало ли что. Найдёт и пропьёт. Тот хоть пил, но из дома ничего не брал, а этот!.. Транзистор — подарок отцу за хорошую работу — уже пропил. Не знаю теперь, что и делать. Вот в больницу положили... Желчный пузырь, а операцию делать нельзя. Тот инвалидом сделал, до инсульта довёл, а этот совсем доконает... Валентин там живёт, ему и дела мало, мне ведь с Толей теперь не справиться...

Логунков, слушая сестру, думал: надо говорить что-то утешительное, но он не знал что. Сестра глядела на него долгим взглядом, словно ждала чего-то. А что он мог ей сказать? Что сама во многом виновата, надо было как-то по-другому жить? Это было бы жестоко, да и права, наверное, не имел, даже как брат. Не говорят такие вещи у постели больного.

Но почему так вопрошающе смотрит на него сестра, чего ждёт? В сущности, они давно чужие... Да и были они когда близки друг другу? И Логунков ловил себя на том, что ему не жалко сестру, он ей просто сочувствует, как сочувствовал бы любому больному человеку.

Логунков отмечал про себя, что сестра сильно изменилась, постарела, голубые глаза, такие яркие раньше, посветлели, но не чистым, а туманным каким-то светом, зрачки стали похожи на недозревшие голубичины. Рот после инсульта был немного искривлен, и виднелись неестественно ровные вставные зубы. Неприятно выделялся и двойной рыхлый подбородок. Только крупная родинка над правой бровью осталась такой, как раньше, в детстве. И Логунков смотрел сейчас на эту родинку, так ему было легче.

4

«Отцова любимица была, — часто говорила мать, оправдывая какую-нибудь шалость сестры, — никогда не наказывал: ни ремнем, ни словом. Как же, первой была! До тебя-то у нас ещё четверо народилось — померли.

Она — первая, а ты — последний... Ты в зыбке лежал, когда отец на войну уходил. Помню, припал он к зыбке, обхватил её руками и плачет... Вот и убило. Не надо, видно, жалость с собой брать...

А ей, Верке-то, письма отдельно с фронта писал: мне — листок и ей — листок. И гляди-ка, как совпало: отца ранило — и у неё в то же время глаза заболели, в школу два месяца не ходила, в больницу положили. А его — в госпиталь, в Молотове. Он стриженный, фотокарточку из госпиталя прислал, и она стриженная, в больнице волосы отрезали. Такие косы были, до пояса. Ревела...

Смутно, но это уже помнил Логунков из своего детства: стриженую Верку. Училась она тогда в четвёртом классе, играла с мальчишками и сама была как мальчишка. С братцем своим не очень-то хороводилась.

И еще запомнилось ему с того времени, как убивалась Верка, когда получила похоронку, на речку убежала топить... Еле откачали...

Разница в десять лет, что разделяла сестру и брата, сказывалась. Ну, хотя бы взять то, что сестра успела пожить при хорошей жизни, знала много такого, что братцу и во сне не могло присниться. И когда сидели вечерами при свете лучины и делили плитку жмыха, Верка называла эти сохлые кусочки шоколадом. «Эх ты, бедненький, не знаешь, что такое шоколад! Подожди, война кончится, куплю я тебе этого шоколада».

Избалованная отцом, она требовала и от матери, а той приходилось кроить да перешивать чуть ли не из последнего, чтобы потрафить дочери. Брат ничего не просил, не потому, что не хотел, а не знал, чего просить. Того, чего хотелось, было так мало, что и просить нечего, — всё равно не дадут.

Разница в возрасте сказывалась и на другом: брат почти всегда был один. Мать, уходя на работу, наказывала: «Если на речку пойдёшь, Вовку с собой возьми. Он всё один да один, так и говорить разучится. Там хоть щавеля поедите, ягод пособираете».

Но сестре не хотелось нянчиться, она выводила брата на крыльцо, показывала на небо: «Видишь то облако? Оно только сейчас такое маленькое да белое, из него туча розовая вы-

растет, а ты ведь грома да молний боишься! Поиграй тут на крылечке, а шавеля я тебе нарву, принесу...» Братец — в рёв, ему и на крылечке страшно под грозовой тучей, лучше уж дома на лавке сидеть.

Так было в самые его первые годы, когда пришло понимание, — то и запомнилось. Чем больше Логунков начинал понимать, тем дальше видел сестру от себя. Ещё девчонкой-подростком она уже казалась ему взрослой, и его маленькая жизнь во многом зависела от ее жизни.

Вернувшись из эвакуации, они первое время жили у родни в деревне, их город был почти полностью разрушен. Вера к тому времени окончила седьмой класс, и родственница устроила её в столовую в лесном поселке. Логункову запомнилось, как сестра приезжала на выходной день домой и каждый раз привозила ему гостинец — сахарный песок в спичечном коробке.

Зимний вечер, семилинейная лампа на столе, потёртая клеёнка и на ней — коробок с белым мелким песком. Его можно было лизать помаленьку кончиком языка, но тогда ненадолго коробка хватало. Можно было высыпать горкой всё сразу и макать в него специально принесенную корочку хлеба — тогда наслаждение растягивалось. А когда песок кончался, то можно было обмануть себя: зачерпнуть на улице снега и лизать, пока снег не растаял...

И весь вечер был слышен звонкий голос сестры, у неё была красивая улыбка, красивые зубы, красивые волосы, и вся она была красивая и румяная после бани, пахла мылом и ещё чем-то, совсем незнакомым ему, — казалась царевной из сказки.

Ласково пригнув голову брата к своей груди, сестра сладко скребла кожу «вшивком» — небольшим ножиком, ворошила волосы, и ему хотелось, чтобы наслаждение это никогда не кончалось...

Летом деревенские ребята ездили в город продавать ягоды. До железной дороги было недалеко, утром в направлении города шёл пригородный поезд, просыпаться нужно было рано — с восходом солнца.

С вечера стояло в прохладных сенях ведро с ягодами, лежали стопкой свернутые из газет кулечки. Билетов не брали, садились на лесенки, забирались в тамбур, а то и на крышу ваго-

на. На рынке занимали людные места у входа-выхода.

По выходным дням на рынок иногда ездила и сестра. Тогда маленькому Вовке Логункову было радостно и весело — не от того, что не нужно было нести тяжёлое ведро с ягодами. Рядом с сестрой он чувствовал себя увереннее, и та же малина в узких кулечках казалась ему крупнее и слаще.

В людской толчее рынка он не отставал от сестры ни на шаг, а та всё ходила и ходила меж рядов, всё высматривала чего-то, и вдруг — для брата это было всегда неожиданно — в руках сестры волшебным появлялась целая буханка хлеба. И каждый раз вместе с радостью на него наваливалась неожиданная слабость. Он уже знал, что, вместо того чтобы присесть где-нибудь у ларька на ящики и поесть хлеба, сестра будет ходить и ходить по рынку, нося буханку в руках, что она, к великому ужасу братца, продаст эту буханку какой-нибудь тётке, тоже приехавшей из деревни. Потом снова купит и снова продаст, и уже к вечеру, к отходу поезда, у неё будет целых две буханки!

— Ты не хнычь и не клянчи. Я знаю, что делаю, чуть всё дело не испортил! — строго выговаривала ему сестра, когда при очередной продаже буханки он с плачем бросился на сестру: «Не продавай, не продавай, самим надо!»

Но зато как радостно колотилось сердце, когда они сидели на вагонной лавке у окна, сестра отрезала ему кусок во всю буханку, и можно было есть не торопясь, смотреть на мелькавший за окнами вечеряющий лес и знать, что в сестрином ведре, кроме початой, есть ещё и целая — совсем целая буханка!

Сломленному от усталости Вовке и во сне под стук колёс снилась эта чудом появлявшаяся вторая буханка. Ведь он хорошо знал, что денег-то только на одну было...

Но однажды они с сестрой возвратились домой почти ни с чем. Сначала всё было как раньше. С утра продали два ведра ягод, к обеда в сестриных руках была уже буханка, свежая, вкусно пахнущая, такая призывная, что у Логункова нескончаемо текли слюни. Но сестра, ловко лавируя в густой толпе, несла её на полусогнутой руке, словно напоказ, предлагая каждому.

Логунков проталкивался следом, не спуская глаз с буханки, которая казалась ему такой большой, что заслоняла послеобеденное солнце. И когда они вышли к ряду, где продавали овощи и народу было поменьше, у него потемнело в глазах, закружилась голова, он стал падать куда-то, ничего уже не видя.

Очнулся он в кругу людей, в глухом гуле выско над ним белели склонённые лица, и ближе всех было растерянное лицо сестры.

— Ты ему хлеба, хлеба дай! Обычный голодный обморок! — громко кричал одноногий инвалид, стуча костылём в землю. — Я тебя, красавица, который раз примечаю, спекулянтка ты! Несколько раз хлеб перепродаешь, вот у тебя и набегают на вторую буханку, нечестно это! Ходишь, хвостом виляешь, а о брате родном забыла, он же, как пёс голодный, за тобой бежит...

Логунков знал, что сестра может этому инвалиду так ответить!.. Так ответить! И, чтобы стычки не вышло, скорее встал на ноги. Голова немного кружилась, Вера взяла его за руку и повела к выходу. В скверике, в тени, сели на скамейку, она отломала от буханки кусок и дала брату.

— Ты только маме не говори. Подумаешь, упал. Это тебя солнцем нагрело... А калеке этому я покажу, учить вздумал! — грозно прошипела сестра.

Запомнился Логункову и ещё один день, по осени, когда они ездили на рынок. Мать вырастила немного табаку, засушила его, нарубила в корытце и тоже поехала с ними. В ведрах краснела брусника, цена ей была меньше, чем летней ягоде, продавали ее не в кулёчках, а ведром. Ягоды сбыли быстро, пошли искать мать. К удивлению сестры, табака у матери уже не было.

— Весь продала, — весело сказала она. — Долго ли, табак-то хороший оказался!

— И сколько же выручила за табак? — спросила сестра.

— А вот сколько, все наши! — мама протянула деньги сестре.

— Да ведь ты почти задаром табак отдала! Ну кто ж так делает! Ой ты, простофиля, сидела бы дома, нечего тут тебе на торжище делать. И я-то, дура, кому доверила, ведь чувствовала, что так и будет!..

Сестра долго ругалась, громко, не сдержи-

вая себя, а мать сначала удивлённо слушала, сидя на сером камне. Лицо её постепенно темнело, морщилось, и, уже плача, она стала оправдываться:

— Да ведь я же людям продавала, сколь дадут — и ладно... Ведь хвалили, мол, табак хороший, и я насыпала с горкой. Чего жалеть-то, ещё выращу...

— Дура ты, дура! Хвалили... Хвалили, так надо было брать больше, на что теперь хлеба купишь? На нашу выручку не надейся, за бруснику немного дадут... Думала, хоть туфли куплю, теперь — шиш!

Логункову было жалко мать, она и дома-то редко плакала, а тут — при народе. Но пожалел и сестру: новых туфель у неё не будет, а старые совсем разношены.

5

— Ты сходи к Толе на работу, поговори с начальством... Не выгнали бы его... А сначала на квартиру загляни — как там. Я ключи тебе дам, — сестра с заметным усилием стала поворачиваться на бок, чтобы открыть тумбочку, но Логунков опередил: потянул за дверцу, взял с полочки ключи.

«Надо было принести чего-нибудь... С пустыми руками пришёл, торопился... Ей же никто теперь ничего не принесёт», — с острым приливом жалости подумал Логунков.

Выйдя в длинный коридор больницы, он долго топтался у столика дежурной сестры, но никого из медиков поблизости не было. Мимо бродили больные, с любопытством поглядывая на него, Логунков то и дело поправлял короткий белый халат, сползающий с плеч.

— Вы, наверное, медсестру ждёте? Или врача? — спросила молодая женщина с повязанным горлом. — Они в процедурной, чай там пьют...

Логунков не стал дожидаться, решил, что спросит о состоянии здоровья сестры после.

Подходило время обеда, нужно было где-то перекусить. В Горске был всего один ресторан. Логунков знал, что днём там почти всегда пусто, хотел уже идти, но передумал. Настроение паршивое, и он знал, что не удержится, закажет к обеду чего-нибудь крепенького, а нужно было выполнить просьбу сестры: сходить на

Толину работу, домой заглянуть и, если удастся, поговорить с ним.

Логунков наскоро перекусил в станционном буфете. Пока жевал чёрствые пирожки, запивая чуть тёплым кофе, решил окончательно: сначала нужно идти на квартиру — вдруг да Толя там, а не на работе.

Улица Советов, на которой жила сестра, была самой длинной в Горске, осевой, — делила город на две части. При восстановлении города после войны эту улицу застраивали первой, в середине быстро наставили двухэтажных домов из бруса, оштукатурили их, покрасили в розовый цвет. Потом уж она достраивалась по краям кирпичными, деревянными и блочными зданиями — в зависимости от времени.

Логунков хорошо помнил эту улицу. Сколько по ней пришлось походить-потопать и в осеннюю слякоть, и в крутые морозы, когда Вера работала патронажной сестрой. Наверно, не было дома на этой улице, где бы он не надирожался в подъезде — и от стылой непогоды, и от прилипчивых страхов в темноте.

В 1947 году сестра окончила курсы медсестёр, каким-то образом получила комнатку в Горске и перевезла их из деревни в город. Вовка Логунков тогда в третий класс пошёл. Участком сестры была эта улица Советов.

Собрав чемоданчик с необходимым инструментом, шприцами и склянками, сестра одевалась и поторапливала братца: каждый раз он должен был сопровождать её, быть «телохранником».

Случилось так, что при первом же обходе участка на неё напал какой-то мужик. В тёмном подъезде — тогда подъезды были все тёмные, без лампочек — он вырвал чемоданчик из рук, да ещё поприжал тесно. Хорошо ещё, что на крик сестры выбежали из квартир жильцы, и мужик смылся. С тех пор и боялась Вера ходить одна по участку, брала с собой брата.

У Логункова потом долго рассасывался этот тоскливый страх ожидания у крутых лестниц, скрипучих дверей, вонючих подвалов, когда даже неожиданная возня кошек пугает вусмерть.

За сестрой захлопывалась дверь той или иной квартиры, а он оставался один, и медленно тянулись минуты, пока, зябко поеживаясь, ожидал её.

«Убегу и всё, вот сейчас убегу...» — думал он в темноте, но что-то держало его на месте. Потом-то Логунков понял, что заставляло его сопровождать сестру, дожидаться в подъездах. Конечно же, не те витаминные горошины, которые она после обхода щедро насыпала ему в ладошку.

Вера была в ту пору красивой девушкой, в самом своём расцвете, и брат замечал, как смотрели на неё парни. Если честно признаться, то ему и нравилось сопровождать её, она же была его сестра. Да и льстило, что признавала Вовку как защитника. Логунков даже не обижался, когда сестра приказывала ему идти не рядом с ней, а позади, если было ещё светло, — шагов на пятьдесят. Понимал он, что стыдно ей идти рядом с оборванцем, одетым в перешитую из материнной и залатанную кофту — если осенью, в ватное тоже латаное и перелатанное пальтишко — зимой.

«Ладно, пусть покрасуется. Ишь, вышагивает, словно королева», — по-взрослому рассуждал он, идя сзади, нисколько не обижаясь. Он любил тогда свою сестру. Иначе не мог бы простить ей и другое, куда более серьёзное.

Мать устроилась тогда при пекарне, но не хлеб пекла, а возила его в дощатом фургоне на санях через озеро — в лесопункт, пекарня была леспромхозовской. Летом хлеб доставляли в лесопункт на катере, а зимой приходилось на санях по льду.

Каждое утро она запрягала мохноногую низенькую лошадку — Монголкой звали, подъезжала к пекарне, нагружала фургон свежим хлебом, выезжала на дорогу, обставленную вешками, — далеко эту дорогу по озеру видно.

Когда были каникулы, мать иногда брала с собой сына. Логункову хорошо запомнились эти поездки по снежному озеру. Бежит споро лошадка, светит зимнее солнышко, чистый снег искрится, сверкает, в руках — тёплая горбушка: пекарь тётя Надя дала на дорогу. И казалось Вовке, что стенка фургона, к которой прислонились спинами, потеплела от горячего хлеба — вон его сколько в фургоне!

Мать и вожжи даст, но править не надо: дорога ровная и прямая. Монголка бежит, резво перебирает короткими ногами. Так хорошо, что мать песню запоёт, даже неловко немного — очень уж голос её каким-то тонким становился, непривычным. Запоёт, да тут же и пе-

рестанет, словно бы самой себя застыдит.

— Мама, а отчего Верка такая?

— Какая?

— А ты нам сухарей сладких недавно оставила, помнишь?

— Помню, недавно дело было. Купила в лесопункте, в городе-то таких нету....

— Ну. На двоих ведь оставила — по десять сухарей, я сосчитал. А мне только три досталось. Пришёл Борька. Знаешь его, ещё у нас у порога поскользнулся, упал да рукой — в ведро помойное...

— Да знаю, знаю я этого Борьку-кавалера!

— Так они меня плясать по-цыгански заставили и за это три сухаря только дали. Сами остальное с чаем съели...

— Ну уж ладно, не сердись на них, цыганёнок ты мой, — обняла мать, прижала к себе. — Я тебе ещё куплю... Пряников... А Верке — что, угощать кавалера надо, пустым чаем не будешь поить.

О сухарях-то сказал, а о главном умолчал. Мать однажды в лесопункте осталась на ночь, буран сильный на озере поднялся. Ждал-ждал её сын, в плиту дрова подкладывал, чтобы чайник горячим был, — мать с дороги всегда чай пила, да так и не дождался: сморило в сон, лёг на кровать. А сестра с Борькой в кино ушли.

Проснулся Вовка среди ночи от копошения: кто-то его совсем к стене придавил, незнакомая спина, широкая... Кровать у них одна была, двуспальная, на ней мать с Веркой спали. Вовке на полу всегда стелили или, если холодно, на досках, положенных на табуретки.

Боялся тогда дышать, понял он, что это Борька на их кровать завалился. Копошатся с сестрой, возятся, словно их блохи кусают. И ничего лучшего не придумал тогда Логунков, как зареветь, — громко, протяжно, хоть и нарочно. Здорово у него тогда получилось! Их как ветром с кровати сдуло.

Утром сестра конфеток дала.

Это, — говорит, — Борька тебе оставил. А ты маме не скажешь, что Борька у нас ночью был? Не говори, он потому и остался, что дорогу замело. От нас ему на работу ближе, чем с окраины-то по снегу топать.

Борьку скоро взяли в армию, но сестра не очень-то горевала, бегала вечерами на танцы.

6

Уже на подходе к дому сестры Логунков неожиданно встретился с Толей — тот стоял в очереди у пивного ларька. Увидев дядю, он съёжился, отвёл голову, втискиваясь в очередь. Логунков, чувствуя закипавшую в нём злость, подошёл, взял парня за руку, потянул из очереди. Толя не сопротивлялся, буркнул что-то стоящему сзади мужику. Толино лицо было опухшим, покрасневшие глазки бегали, избегая прямого взгляда Логункова. Голубая, вся в грязных разводах куртка мято свисала с плеч.

— Ты что же это, а? Мать в больнице, а ты вот где шляешься! Ну-ка пошли домой! — Логункову показалось, что Толя вот-вот припустит от него, потому взял его под локоть.

В квартире, на удивление, было чисто, но стоял неприятный запах, лишь стол на кухне был заставлен пустыми бутылками, завален окурками и огрызками.

— Как у тебя с работой, ведь ты же должен сейчас работать?

— У меня отгулы, — хриплым голосом ответил Толя.

— Мы это ещё узнаем!.. А почему мать не навещаешь. Она же одна теперь, понимаешь, одна! — выделил слогами последнее слово Логунков. — Отца не стало, так теперь что — пить да гулять? Ловко ты, Толечка, устроился!

Логунков чувствовал: не то сейчас говорит, больше подражает Вере. Надо было как-то по-другому, он не знал как.

— На, закури.

— Я сигарет не курю, — Толя вынул из кармана мятую пачку «Беломора». На пол упала десятка.

— Ты что это, уже вещи пропивать стал? Мать жаловалась, что ты отцовский транзистор продал да пропил!

— А чего она так?.. Довела отца до петли. Мужики на работе говорили...

— А ты больше слушай мужиков. Пить не надо было, дорогой мой! Вот и тебя сейчас возьми, ну какой девке ты нужен?! Любой это не понравится. Да ты сам-то..! Сам где был в то время, а? Мать отца весь вечер на лестнице продержала. А ты что, вступился? Не-ет! Спаченьки лёг. Вот все вы так, одно сплошное

равнодушные, эгоизм, только себя и любите. Мать твоя — только деньги, деньги! Отец — тот лишь о вине думал... И вот ты теперь! Ну где у тебя хоть капля жалости к матери? Она же родила тебя! Да и Валентину, видно, мать тоже мало нужна. Уехал, с глаз долой — из сердца вон, живите как можете. Эх, да что говорить!..

Логункова всегда, как говорят, «несло» в таких случаях. Если уж заведётся, начнёт читать мораль, трудно остановить. Это за ним замечали и дома, и на работе, да он и сам знал... Вот и сейчас: бухает, как в пустую бочку. А на кого злиться, на кого досадовать? Да и прав ли он? Со стороны-то всегда легче рассуждать. И зря он на Валентину так, правильно тот поступил, что уехал. Не тут же ему было жить с женой да ребенком, в этих двух комнатах и не разместиться всем. Тут уж или живи один, не женись, или свивай себе другое гнездышко.

Толя сидел опустив голову, свесив руки меж колен. И в этой беззащитной позе Логунков вдруг представил весь род людской. Да, сидит вот так, опустив голову, свесив руки. Бери кол и теши на этой голове, главное, лишь бы выдержала, а до остального дела нет. Хочется — ну и теши, ничего, если и по своей голове случайно заденешь. И в руки так же: клади хоть что. Если стакан, бутылку — выпьем. Гармонь — сыграем. Ружье — выстрелим. Петлю — повесимся...

Но ведь восставала же сестра! И головы не подставляла, и в руки — что подороже да лучше — брала. С мужа деньги требовала, сама на двух работах вкалывала, на полторасменке, да еще ночные прихватывала, вот и докалывала, вот чем все обернулось! Выходит, тоже плохо?

А в книгах духовного, высоконравственного требуют... Откуда ему взяться-то, этому духовному? Работа, бесконечные очереди, телевизор, квартира — всё время на это и уходит. Логунков часто замечал, что о высокой духовности и нравственности говорят больше те, кто «сидит» на этом. А слова, речи, выступления всего-навсего инструмент в работе, — ну как, к примеру, у зятя были «когти» для лазания на деревянные столбы и опоры...

— Ну что ж ты так гостя встречаешь? Хоть чаю согрей, — Логунков хлопнул по плечу Толю. — А я пока на почту сбегаю, позвоню домой, чтоб

сегодня не ждали. Завтра — выходной, почистимся, побреемся и к матери сходим.

Логунков догадывался, что племянник соврал про отгулы. Какие у него отгулы? Слесарем работает. Догадывался, но не хотелось допекать парня до горелой корочки, и так, наверно, лишку перехватил.

На проходной Володю Логункова знали, пропустили, слесарку и мастера он нашёл быстро. С мастером Костей Ведякиным знакомы с малых лет, на свадьбе Веры дружком у жениха был. Костя сильно заикался, с годами это не прошло, а, как показалось Логункову, усилилось. Сильно напрягая мускулы лица, морща в напряжении лоб, он только и выговорил:

— Ладно, замнём... Только чтоб в понедельник был обязательно!

— А что хоть он делает? — спросил с неподдельным интересом Логунков.

— Да разное... — Ведякин подвёл его к Толиному верстаку.

На нём в тисках был зажат какой-то стержень, заостренный с одного конца и изогнутый вопросительным знаком. Логунков догадался, что такие штуки забивают в деревянные опоры для провода заземления.

Когда Логунков вернулся, на кухне было прибрано, на столе стояли чистые чашки для чая и два стакана. Толя нырнул куда-то за стол и вытащил бутылку красного вина.

— Дядя Володя, больше нет. Это последняя, правда, — умоляюще, боясь отказа, сказал племянник.

Логунков, сощурившись, смотрел на Толю, как бы оценивая, а сам лихорадочно соображал, как же быть.

Отказаться? Надо отказаться, ведь всё может полететь под гору: и завтрашнее посещение больницы, и работа в понедельник. Крюк тот несчастный так в тисках и останется, уволят его с работы, не будут больше нянчиться... Да и перед сестрой как: хорош дядюшка — на пару с племянником выпивал! Но что-то Логункову подсказывало и другое: ведь человек же он, вон как мучается... Да если и отказаться, то где же гарантия, что он ночью эту бутылку не выпьет — будет ещё хуже. А если на двоих сейчас, то немного ему и достанется...

— ...Ладно, давай. Только чтоб эта была во-

обще последней. Договорились? По крайней мере, пока мать в больнице, больше не пей. Я ведь, знаешь, только что с твоей работы... Ждут там тебя в понедельник. Понял?

Толя расслабленно сел, с какой-то хищно-радостной улыбкой стал разливать вино в стаканы. Логункову эта улыбка показалась знакомой, и он тут же вспомнил: это же зять так улыбался, когда разливал. С точно такой улыбкой он и лёсу вытаскивал, когда на донку попалался крупный лещ.

«Вот же как мать-природа может повторять! Если так, то и с Толей может случиться непоправимое...» — Логунков зябко поёжился от этой мысли и залпом выпил полный стакан вина.

Лёжа на спине, Логунков слышал тяжёлое дыхание племянника, его всхлипы и мычание во сне. За вином — а к чаю он так и не притронулся — Толя разговорился, отчаянно жестикулировал, рассказывая, как они с отцом рыбу ловили, за грибами и ягодами ездили, кору ивовую заготавливали — целыми кипами. Хорошие деньги за кору выручали: приёмник Толе купили, магнитофон. Лицо его раскраснелось, глаза расширились, словно он вновь переживал былое.

— Вот-вот, — хватался за это Логунков, — вот так и надо было жить! Это же здорово: природа, лес, ягоды... Ведь вы же полезное дело творили, со всех сторон полезное!

— И на вино нам хватало. Оставалось, — подержал его тон Толя. — Мать и не знала.

— А вот этого не надо было делать, это зря, тут-то и кроется пагуба. Мне сестра, то есть мать твоя, говорила, как отец сачком у турбины корюшку черпал, а потом продавал бабам да пропивал. Было? Было! А зачем? Вот вы бы и несли эту корюшку домой на сковородку...

— Да куда её всю на сковородку, много! На сковородке у нас получше рыба была.

— Ничего, засушить можно, насолить, навялить, дело не в этом. Или тогда не надо было ловить, раз на продажу. Это вообще безобразие, что он тебя спаивал. Водка разве до хорошего доведёт! Скажи, спаивал тебя отец?

— Не-ет, — возмущённо ответил Толя, — меня дед к вину приучал. Придёшь к нему, а он: «Выпей, внучек, стопочку. Для аппетита».

— Ну вот, ещё и дед! Испортили они тебя, парень, совсем испортили. Тебе двадцать пять лет. Да это же расцвет самый. Лермонтов, знаешь, в эти годы что уже натворил!.. А Фрунзе, а Павка Корчагин! Ты хоть книги-то читаешь?

— А у нас нет книг, одни учебники, что со школы остались. Папка, правда, читал кое-что, из библиотеки иногда приносил... Горького...

— Видишь, книг не читаешь. Откуда же человеку разума набираться? Только из книг.

Разговор на книгах и завял, Толю ко сну потянуло, хотя Логунков и пытался его как-то расшевелить.

Сейчас, в темноте комнаты, Логункову опять увиделся племянник, сиротливо стоявший у ларька, съёжившийся и дрожащий, ни для какого дела не годный... Станным Логункову сейчас показалось, что Толя за столом ни разу о матери не вспомнил. А ведь та в больнице лежит в тяжёлом состоянии. И о брате ни разу не вспомнил. Только об отце и говорил. Может, потому, что отца уже в живых нет? Если так, то какой же он, в сущности, одинокий. И как ему жить дальше?

7

Толя был вторым ребенком в семье сестры. Недолго гуляла она с Алексеем Лазарковым, вышла замуж, а он ещё и в армии не служил. Чем-то приглянулся ей голубоглазый скобарь — вернее всего, хотелось ей поскорее замуж выскочить. Это уж потом она при первых разладах в семье всё о Борьке вспоминала: вот, мол, как тот хорошо с женой живёт, после армии и пить, и курить бросил.

Свадьбу постарались справить пышную по тому времени. Сестра работала в больнице, многих пригласила «из среднего и высшего медперсонала», вплоть до главврача, который быстро сник на свадьбе, хотя и баян с собой принёс, — пришлось кому-то другому играть.

Дома у невесты не все бы уместились, да и не хотелось ей бедноту свою показывать. Собрались в двухкомнатной квартире жениха. Там, правда, тоже небогато, но сесть на что было, да и места больше. Браги наварили, спирту из больницы принесли.

Свадьбу сыграли, сестра жить там и осталась.

Свёкор, как и сын, на ГЭС работал со дня её восстановления. Выпить любил, но никогда не скандалил — тихий, смирный мужичок. Умел тапки хорошо шить, да такие, что по улице можно было в них ходить. Из разного материала шил. Полгорода, наверно, носило — лёгкие, крепкие, а главное — дешёвые. Любил свёкор кроликов разводить, почти каждую субботу свекровь жаркое готовила.

К Логунковым редко ходили, зато сами они бывали у них частенько. Мать — на дочь посмотреть, гостинец принести, а Вовке и суп лапшовый нравился, и жаркое: дома-то не столь вкусные были обеды — мать сторожихой в леспромхозовском гараже работала, денег немного получала.

Привечали их не очень чтобы ласково, но и гнать не гнали. Сват в первую очередь тапки обоим сшил — носите! Логунков замечал в сестре перемены: стала она какой-то важной, братца совсем почти не замечала.

Комнату, где жили молодые, всю салфетками вышивными украсила, розы да тюльпаны кругом, на стенах кошечки с бантиками посверкивают — тогда модны были такие кошечки из фольги, клеенчатый ковёр с лебедями и прудом — над кроватью, а на комод — свинья-копилка.

Тогда дети быстро выросли, и маленький Вовка Логунков постепенно принаравливался к жизни, постигая её мальчишеским умом. И по его разумению выходило, хорошо сестра устроилась: вон и пальто с меховым воротником, платье блестящее синее сшила — из шёлка. Живи-ка она дома, разве было бы что! Да и им лучше стало: в комнате свободнее, не надо теперь на доски ложиться — спи на кровати сколько хочешь, мать-то часто в ночные ходит. Да и перепадает иногда кое-что: матери кофту с плеч Вера дала, правда, старенькую, а братцу из сестриногo жакета пиджак скроили — теперь, небось, не стыдно рядом пройтись...

Но вскоре родился Валя, а через некоторое время Алексея призвали в армию, увезли далеко, аж к самому Магадану.

И что кому не понравилось, кто был тогда виноват — свекровь или невестка, только ушла Вера оттуда, вернулась домой.

Люльку деревянную, свёкром сделанную, у

стены поставили — так, чтобы и от плиты недалеко. По всей кухоньке верёвок навесили — пелёнки сушить. Вторую, новую кровать, что сестра с собой взяла, у самого окна поставили. Коврик с лебедями, салфетки вышитые, комод, этажерка — это всё тоже перекочевало. Совсем тесно стало у Логунковых, не повернуться.

— Ладно, в тесноте, да не в обиде, — вроде бы даже довольная, повторяла мать. — Вот куда только их посадить, как придут, да чем угощать будем? Кроликов-то у нас нету.

— Ладно, чего разнюнилась раньше времени? Может, и не придут вовсе, нужны мы им. Та глыба, — это сестра на свекровь так, — только на сердце своё и жалуется: ох! ох! — смешно передразнивала Вера, притворно хватаясь за грудь. — «Я ребеночка-то и поднять не могу, ни передвинуть, сердце у меня больное!» «Больное!» Всех переживёт... Знаю я настоящих сердечников, не на ГЭСе работаю... А тот — тоже, сделал ребеночка да и укатил, живи теперь...

— А и ладно, и проживём. Я теперь в гараже воду буду для машин подогревать, надбавят мне сколь-нить...

— Ой, замолчи со своей надбавкой, не расстраивайся. Лучше скажи, куда Вальку будем девать? Я теперь в туберкулёзное перешла, сутками надо будет дежурить.

— Ну тут уж не сумлюйся, вырастим! Не первый, да и не последний — дай бог волю...

— Да ты что, смотри, не накаркай! Нет уж, с таким муженьком да с его родителями и этого-то не надо было. Ты что, думаешь, он слесарешкой много получает? Да если вернётся туда же, я его и на порог не пушу. Ну скажи, сколько мы нищенствовать будем, а? То война, то разруха. А теперь что? Ведь живут же люди, понимаешь, жи-ив-у-ут! Вон для итэ-эровских бумкомбината целую улицу из коттеджей построили, видела ведь! Магазин в конце улицы, садики кругом, палисадники — живите, все вам условия. Вот как надо жить! Это вы тут ютитесь, голь несчастная. У-у... Ненавижу всё, ненавижу! — выла Вера.

Мать, притихшая, качала люльку, в которой спокойно посапывал Валька, с лица её капали слёзы. Утерев нос ладошкой, отвечала сквозь глубокий вздох:

— Тебе ли меня винить, брата бы хоть постеснялась. Что, я корку у тебя хлебную отняла или ещё что? Что ты на других-то равняешься? Как живут — не наше дело, ты о себе знай да помни. И нас нечего голюю упрекать. Я, что ли, виновата, что в итээровцы меня не берут. Хотела бы, да не возьмут, сама знаешь — безграмотная.... И плохо ты беду да лихо знаешь, вот что я тебе скажу. Не клевал тебя петух жареный в задницу, прости ты, господи. А не любо, иди куда хочешь. Мы с Вовкой проживём, правда, Вова? Вот вырастешь ты, сынок, выучишься — ещё и другим кукиш покажем...

А он стоял у плиты и молча плакал, колупая ногтем растрескавшуюся обмазку. Ему было жаль и мать, и сестру, и Вальку в люльке, и свата дядю Федю, который сшил ему тапки. Не мог он понять, почему так плохо всем, зачем взяли Алексея в армию, ведь войны-то теперь нет, и чего сестре не жилось на новом месте, ведь всё было так хорошо.

8

Мать по ночам дежурила, а днём нянчилась с внуком. В комнате пахло пелёнками, ползунками, пригорелым молоком, рыбьим жиром. На кухонном подоконнике всегда стояла коробочка с витаминами, сестра с каким-то особым уважением относилась к ним: не успевала опорожниться одна коробочка, приносила из больницы другую.

Логунков поминутно хрумкал ими, а мать, помусолив беззубым ртом одну-две горошины, морщась, выплёвывала в ладошку незаметно для дочери. Вера и её заставляла принимать эти витамины.

Рыбьим жиром пахло не только в комнате и на кухне, провонял им и туалет. Вовка с матерью частенько использовали его вместо подсолнечного масла, макали в него картошку. Сначала было противно, а потом ничего, привыкли.

Зять Алексей присылал из армии частые письма, каждый листок был с нарисованными цветками и сердцем, пронзённым стрелой. Вера читала, довольно похохатывая, в них, кроме грубой солдатской прозы («Ты смотри там, очень-то хвостом не вилай, приеду, всё уз-

наю!..»), были и стишки любовного характера. Вера отвечала ему, коротко писала о житье-бытье, заполняя вторую сторону листа Валькиной ладошкой — обводила её карандашом. А однажды разнежилась и сунула в конверт прядку волос сына, всплакнув при этом.

Валька рос крепким ребёнком (витамины, видно, и вправду помогали), бабка, когда нужно было идти в магазин, носила его на спине. Он такой был тихий и спокойный, что женщины в очередях иногда обеспокоенно спрашивали: «Живой ли хоть он у тебя?» Бабка подбрасывала его, как заплечный мешок, и довольно отвечала: «Живей живого! Ишь, спит, как богатырь».

Часто она рассказывала одну историю, как внук чуть не убил её. «Пришла я с ночного дежурства, привалилась вздремнуть, пока он спал. Вдруг — хлоп, удар по голове! Я вскочила как очумелая! Что, думаю, творится! А это он, внук, стоит рядом с молотком в ручонках и улыбается... Есть у него привычка: возьмёт молоток и ходит, по табуреткам поколачивает, по гвоздям забитым бьёт. Ну, по пути и бабка попалась. Не знаю, в кого будет, отец-то у него не такой могучий. В Магадане служит, год служить и осталось».

Но Алексею Лазарькову за хорошую службу дали отпуск. Как он сам рассказывал, женский лагерь там взбунтовался, вот они и навели порядок.

— ...Вы представляете, — с придыхом говорил приехавший на побывку зять, — так взбунтовались, что ого! Начальство не знало, что и делать, в Москву звонили! На охранников осужденные накинулись, жертвы из числа рядового состава были... Хорошо, что уцелел, по голове только немного доской досталось. Вот и отпуск дали. Вы думаете, там что, одни воровки сидят? Не-ет! — зять понижал голос, наклонялся над столом. — Там и Русланова... Да-а... А мороз там — за пятьдесят кругом, ого! А они, осужденные, лес там валят. Глядеть да глядеть за ними надо, убежать... Ха-ха... А куда бечь-то? Тайга кругом. Так что ты гляди, женушка, — гладил Веру по голове, — хорошо тут живи, а то попадешь туда — ко мне, под автомат... А что, всякие случаи рассказывали... То у одного солдата баба крутанула, то у другого. Ну и последствия всякие, с этим же у нас строго!..

— Да ладно, будет тебе, распетушился, — недовольно говорила жена. — Все только об этом и думают, по-твоему, будто другой жизни нет...

Свекровь за столом сидела как статуя, поджав надменно губы, по всему было видно: что-то ей не нравится. С одной стороны стола сидели на кровати, с другой — на доске, положенной на табуретки. Свёкор быстро опьянел, вспоминал свою службу, но его никто не слушал. Валька с гремом катал по полу машинку, привезённую отцом. Места ему было мало, отчего ему приходилось кружиться, и он часто падал.

— Он что, ходить ещё плохо умеет, что ли? — спросил озабоченно Алексей.

— Если всё время носить ребенка на спине, не только ножки будут слабыми, но и сутулость разовьётся, позвоночник искривится, грудь будет впалой, — ни к кому не обращаясь, медленно, как бы всем поочередно раздавая слова, проговорила свекровь.

Мать Логункова, возясь с посудой на кухне, на время притихла. Вовка видел, как напряженно выпрямилась сестра, как краснела её шея и щеки, и ждал бури. Но бурю отвёл зять: быстро встал из-за стола, взял на руки сына. Потискав его, поставил на пол и звонко ударил в ладоши:

— Я ведь пластинок несколько привёз! За «Брызги шампанского» мне пятьсот рублей давали в вагоне какие-то матросики. Нет, не согласился! Сейчас сбегая за патефоном, — (патефон был в доме свекрови), — потанцуем, повеселимся, — засуетился Алексей, пробираясь на кухню.

И тут же над столом поднялась свекровь.

— Спасибо за хлеб-соль... Эй ты, начухался, — стала толкать задремавшего за столом мужа. И тот, очнувшись, потянулся к рюмке. Свекровь махнула на него рукой, пусть, мол, остаётся, и с трудом между столом и кроватью протиснулась на кухню.

— Тоже мне фуфыра, слишком грамотной стала: ножки, спинка... У, зараза... — погрозила Вера вслед ушедшей свекрови.

— Не больно-то расходишь, язык не с пуговками — не пристегнёшь, пусть мелет. Будешь ещё из-за нее расстраиваться, плюнь да вытри. Это она злостью исходит, что ребенок не у неё, а у нас растёт, — сказала мать, убирая посуду со стола.

— Да ведь обидно же! — стукнула по столу сестра. — Ребёнку даже рубашки не купит, зато, вон, тапочками завалили весь угол. А ты больше к ним не ходи и не носи туда Вальку! И на спине не носи больше, люди смеются...

— А как же мне его носить, на руках?! Не те годы уже, не могу... А в магазин ходить надо? Надо! Картошку в затоне полоть да окучивать надо? Надо! За свет платить — и то надо через весь город идти. Поставили эту контору к чёрту на кулички. А вчера за мукой белой три часа в очереди простояла, тоже ведь надо, оладушки-то любите! Всё надо! А одного его боюсь оставить, мало ли что... А Вовка — в школе, уроки надо делать, да и побегать парню хочется. И не думай, ничего с ребёнком не станется, не искривится, живой ведь, не глиняный...

Вернулся зять с патефоном, поставил на освобождённый стол, открыл, достал пластинки из чемодана, с которым приехал.

— Сейчас, сейчас, — улыбаясь радостно, словно сейчас он всех осчастливит, приговаривал Алексей.

Пластинка была с красным кружком в центре, и этот кружок показался Логункову красным солнышком.

Зять покрутил ручкой, поставил на пластинку мембрану, и полилась сладкая музыка. Он церемонно подошёл к теще на кухне, приглашая танцевать. Та испуганно отшатнулась от него, но он уже закружил её, стучаясь каблуками сапог о ножки табуреток.

— Да ошалел ты, что ли? — вырвалась наконец мать из объятий зятя, он же, не переставая кружиться, подкатился к жене, нежно обнял её.

— Чудо гороховое! Это же танго, а не вальс, вот так надо, — и Вера стала водить его.

На ней было синее шёлковое платье с белым кружевным воротником, оно очень шло к её стройной фигуре. Да и зять в тёмно-синем свадебном костюме и розовой рубашке был тоже красив, и даже Валька смотрел на них, запрокинув голову и прижимая к груди машинку.

У Логункова в таких случаях, когда всем было хорошо, отчего-то начинало щипать в носу, а на глазах появлялись слёзы.

Зять заготовил дров полный сарай, теперь не надо было возить с лесобиржи калабашки. С

Верой они сходили несколько раз на танцы в Дом культуры, при этом зять каждый раз спрашивал разрешения у тёщи. По всему было видно, что той нравилось такое обхождение.

— Сходите, помилуйтесь, пока молодые.

— Мама, — смеялась Вера, — миловаться и дома можно. А там хоть на людей посмотрим. — Она заметно расцвела за эти дни.

Вечерами теперь Логункову стелили постель на кухне, и он не спал, дожидаясь танцоров, чтобы открыть им дверь, которая закрывалась изнутри на крючок. Мать же, как обычно, дежурила в гараже по ночам.

На прощальный вечер пришёл только свёкор, свекровь сказалась больной. Передала через мужа, что патефон возвращать не надо, пусть, мол, там играют...

С той поры Вовка целыми днями крутил «Брызги шампанского», крутясь возле патефона с Валькой, тому тоже нравилась эта игра.

— ...Ты смотри, пластинку не разбей, ценная. Вернусь со службы, ещё поиграем... — наставлял перед отъездом в свою часть Алексей.

9

Алексей приезжал в июне, а поздней осенью заболела туберкулезом Вера. Логунковы так и думали, что это она на своей работе в туберкулёзном отделении заразилась. Ведь как отговаривали, чтоб не переходила туда! Но там платили больше, а Вера ради денег готова была на всё.

Но ещё до болезни, в июне, брат замечал, что с сестрой происходит что-то неладное: часто была она раздражённой, а по вечерам о чём-то шепталась с матерью.

— ...Не смей и думать, — громким шёпотом отвечала мать так, что слышал сын. — Где один, там и второй, ничего — вырастим. Да и Алексея надо спросить, нехорошо ведь так... обманывать...

— Да что его спрашивать, мама! Ему-то всё равно, это мне потом оковы, ведь только жить начали...

С июля Вовку отправили в пионерский лагерь, а когда он вернулся оттуда, то увидел, что сестра изменилась: стала бледной, похудела, словно из неё половина крови вытекла.

Мать проговорила: Веру еле спасли, если бы

не Кириков, врач, что был на свадьбе, не было бы её в живых. Две недели пластом на кровати лежала... А если бы не в больнице работала, тогда бы что! Отвезли бы под мужнино дуло...

А перед самой зимой Вере поставили диагноз — туберкулёз. Её отправили в санаторий на юг, она присылала оттуда открытки, писала, что каверн, слава богу, нет, делали поддув, но мать с братом не разбирались в этом.

Вера вернулась с юга загоревшей, весёлой, привезла шкатулку, облепленную ракушками.

— Эх, вот где жизнь! Не жизнь, а рай... Поедем, Вовка, туда жить! Солнце, море... жаль, не сезон был. За мной офицерик один ухаживал, рядом с нашим военный санаторий стоял... Молоденький такой, усатенький, как котик. Лётчиком, говорит, летает...

— Будет тебе! — притворно ругалась мать. — И чего ты бесстыдницей стала? Ходишь тут в трусах да лифчике! Парня бы постыдилась, большой ведь уже...

Тикали ходики на стене, сестра спала, тихо похрапывая, Валька вкусно почмокивал в своей деревянной кровати. Люлька стала ему тесной — отнесли в сарай. На кухне мать собиралась к двенадцати на работу, слышно было, как она кряхтела, надевая валенки.

За окном свистел ветер, били в стёкла хлопья снега, и Вовке было жалко мать. «Ведь не украдут же машину или трактор, — думал он. — Зачем сторожить? Да и забор какой, выше человека». Ходил он раз с матерью на работу, сидел в дежурке, все плакаты на стенах прочитал, потом в трёх кабинах посидел. Недолго он тогда «продежурил», во втором часу спать захотелось — мать постелила фуфайку на замасленных стульях; проснулся от грохота сапог: шофёры на работу пришли...

10

Весной вернулся зять Алексей, устроился на старое место, на ГЭС — одно из основных предприятий города. Летом им с Верой дали небольшую квартиру в старом бараке на берегу канала. Тут же, под горой, стояла и сама ГЭС.

Барак был холодный, щелястый, охотников попасть туда не было, но сестра настояла, чтобы перешли. С барака легче будет о настоящей

квартире хлопотать, как думала она, а прицел у неё был дальний: почти все гэсовские жили в трёхэтажном кирпичном доме.

Логункову теперь было куда ходить в гости. Он любил смотреть на текущие воды канала, который разрезал город на две части, соединяя озера.

Почти у самого здания ГЭС был перекинут висячий пешеходный мостик. Идешь по нему — он качается и пружинит, сладко замирает сердце. Под мостиком — вода, на поверхности которой свёртывались большие круги и узкие чёрные воронки. Так она бесшумно текла и неожиданно упиралась в серую стену с высокими окнами. И чудом казалось, что такая текущая масса воды куда-то исчезала. Только посвящённый знал, что мощная водяная лента срывалась за стеной вниз по трубам, она-то и крутила турбины. Таким посвященным был и Логунков: Алексей иногда проводил Вовку в здание ГЭС. С другой его стороны, под горой, отработанная, освобождённая вода с шумом вырывалась в спокойное озеро.

В начале зимы зять сделал финские санки-поткури на длинных железных полозьях, с сиденьем впереди. Валька слез теперь с бабкиного горба, который к тому времени стал уж совсем крутым, и пересел на эти самые санки. Вовке нравилось кататься на них, в управлении ими он достиг большого искусства. Однажды так разогнался под гору, что Валька слетел с сиденья, на лбу у него вздулась большая шишка, после этого стали привязывать.

Логунков лихо раскатывал по городу вместе с другими ребятами, ездили на таких санках и многие взрослые, это был тогда основной транспорт. Особенно любил кататься Вовка у Дома культуры, стоявшего на высокой горе. Возле входа с широкими ступенями, по краям лестницы, стояли две большие статуи на квадратных побеленных постаментах: Ленин и Сталин. Фигура Сталина была выше, может быть, потому, что на нём была фуражка.

Сталин был в шинели, а Ленин — в костюме. Позже скульптуру Сталина куда-то убрали, и ребяташки сталкивали друг друга с освободившегося квадрата постамента — такая была игра.

Шло время, квартиру в трёхэтажке Лазарь-

ковым всё не давали. Вера наседала на мужа.

— Да что ты, сколько раз уже к начальству ходил, обещают... — отбивался он от неё.

А та стучала кулаком по коленке, голос её переходил в крик:

— Если ты завтра не сходишь к Шимшарову, так и знай, сделаю я чего-нибудь. Сделаю, сделаю, не думай...

— Да что ты сделаешь! Сиди на месте!

— А ты так и скажи ему: «Хочешь, чтобы твоя супруга быстрее поправилась, давай квартиру». Она в моём отделении лежит, попалась голубушка. В третьей палате, на койке у окна, самое лучшее место для неё выбрала! Сквознячком-то дует, как у нас в бараке... Пусть потерпит!

— Да ты что, с ума сошла! С тобой прямо страшно иногда становится. Шимшаров-то тут при чём?! Он хоть и начальник мой, да ведь не всё от него зависит. — Поглядев на жену, зять покачал головой, потом тихо сказал: — Ты вот всё «слесаришкой» меня попрекаешь, денег, мол, мало получаю. Ладно, перейду на другую работу! Но попомни: неделями меня не будешь видеть, командировочки начнутся...

— Подумаешь, испугал! Не больно-то и скучать буду! — но тут же, словно поняла, что сказала лишку, продолжала с улыбкой: — А соскучимся — крепче любить будем...

11

Вот с этого времени-то всё и началось, «Внаверно», — подумал Логунков.

Погнавшись за деньгами, Вера крупно промахнулась. Дальние и долгие командировки, иногда и на месяц, «холостая жизнь», все её «временные прелести»: ночёвки в гостиницах и домах приезжих, а то и просто у костра, «на природе». Словом, она, такая «бурлацкая жизнь», сделала своё дело.

Алексей возвращался из командировок загорелым, обветренным, восторженно шумливым, и от него всё чаще стало попахивать не только ветром странствий, но и другим более крепким зельем.

— Не ругай, это у нас закон такой: кончил дело — смазать надо, — отбрехивался муж от брюзжаний жены. — А ты как думала! Три аварии за ме-

сяц — это тебе не шуточки! На опору залезешь, ветер с морозом как наждаком тебя по щекам — и драит, драит, слёзы из глаз! Залезть-то полдела, а ведь и работать надо. Трос сквозь рукавицы жжёт, тянешь, тянешь, аж в плечах заломит. Ну, думаешь, всё, хана, больше не выдержу. А внизу ждут, ага. «Алёшка, мать твою так! — кричат. — Загорать, что ли, залез! Давай тяни, да закреплять надо. Через час подключать требуют...» Лежишь пузом на перекладине, думаешь: «Только бы ключ из рук не выронить». А о себе — где там, некогда думать. Карабин не станешь каждый раз цеплять — двигаться надо туда-сюда, как птичку боюсь сдуть может. Слезешь с опоры — мандраж колотит, ноги как чужие — подкашиваются, губы словно бы на ветре распялило, слова сказать не можешь! А тут тебе — стаканчик, хлобыстнешь и не почувствуешь, будто льдинку проглотил. Вот как! Отойдёшь чуть, согреешься...

Вера на это прореагировала по-своему и, «чтобы не согревался лишний раз», отбирала у мужа часть командировочных.

Тот поначалу бунтовал, ярился:

— Ты что, совсем на деньгах помешалась? Мне ж и так стыдно перед мужиками, в долг брать приходится. Ведь тебе всю получку целиком отдаю, на командировочные кормлюсь, а ты и их забираешь. Я ж на кильке в томате дуба загну!

На всякую меру есть контрмера: Алексей стал искать побочного заработка. То с трассы дров машину продадут — распилят старые опоры, то сено с какой-нибудь полянки вывезут, то бухту провода запасливому хозяину скинут прямо во двор, то ещё чего.

С этого времени научился и в заначки прятать, да так искусно, что даже жена иногда диву давалась.

— Вот ведь какой хитрый, — рассказывала своей матери Вера. — Под стельку не прячет, в носок тоже боится — уже проверено. Так он что придумал! Стала тут как-то трусы стирать, выворачиваю, смотрю: карманчик! Для чего, думаю, в трусах карманчик? А потом уж догадалась, но виду не показала. Приходит домой, а я ему: «Ну-ка, голубчик, раздевайся до трусов». А у них как раз аванс давали, в бухгалтерию-то я уж позвонила, узнала...

Ажно побледнел. «Для чего, — говорит, — раздеваться?» «А, — говорю, — профосмотр бу-

дем делать». Ну, назвал меня дурой. «Я, — говорит, — на баб и не гляжу, больно мне надо... Купи-ка вот лучше с аванса к празднику», — деньги мне сует.

«Давай-давай, — говорю, — снимай штаны». Ну, маленько помочь пришлось. А у него десятка в трусах, аккуратно так сложенная. Это ж надо!

— Да ты уж полегче с мужиком, смотри, сдачи бы не дал! — опасливо ответила мать.

— Фу, ещё чего не хватало! Пусть только попробует, такой укол всажу — надолго запомнит...

— И в кого ты такая уродилась? Попался бы тебе как отец твой — недолго бы царствовала... И чего ты над мужиком издеваешься. Он ведь и так тебе все деньги отдаёт, чего ещё тебе! Мужика уважь лишний раз — он для тебя горы свернёт. Да куда тебе денег-то столько! Обуты-одеты, на столе всё есть, что ещё тебе нужно?!

— «Обуты-одеты»! — передразнила дочь мать. — Скоро квартиру дадут, Шамшукова я всё-таки подцепила на крючок, никуда теперь не денется. Супружница его до сих пор меня благодарит, такое обхождение я ей устроила. И лекарства ей «лучшие» подсовывала, и уколы «лучшей» иглолкой делала, безболезненно, и компрессики ставила, и горчичниками обкладывала, и баночками грела...

А сколько с ней душевных ночей провела рядышком! Сяду на краешек кровати и жужжу, жужжу, как муха! И о том, как у меня болезнь проходила, и как в санаторий ездила, да что мне там делали... И «секрет» ей какой-нибудь тут же придумаю, мол, врач-то вам, милая, так говорит, а на самом деле так-то дела обстоят... То напугаю, вот уже почти в землю закопаю, то опять на свет вытащу. Больные, они ведь такие — всему верят, особенно, когда их дело касается. Каждому жить хочется... Вот и стала я ей лучшая подруга. Врач — что, придёт да уйдёт, а я сутками с ними. И не фуфры-мухры какая-нибудь, а старшая медсестра по отделению, ключик-то от шкафчика с лекарствами в моём кармане.

Некоторые у нас неряхами ходят, не обращают на внешний вид внимания. Халат грязный, на ногах чоботы какие-то, гремят по коридору — во всех палатах слышно. Волосы — и те лишний раз не причешут. Далеко не надо за

примером ходить, вон Машка Липкина. Не скрою, для больных она старается: лежачую лишний раз перевернёт, а надо — так и судно принесёт, не ждёт няню. И всё равно не тот колленкор, не то впечатление.

А меня видели ли хоть раз неряхой? Нет! Халат чистый да накрахмаленный, шапочка тоже. На ногах — мягкие тапочки. Тут уж спасибо свёкру: ничего не скажу, как по заказу сшил. Ноги всегда в чулках капроновых. Хоть и больные кругом, а тоже люди, мужиков-то вон сколько лежит, среди них всякие есть — и с образованием. Хожу, колёсиком этаким катаюсь, — смотрят да любят.

И та же лежачая не Машку Липкину заметит, хоть та в лепешку перед ней расшибись, а меня! «Вам сегодня много лучше, чем вчера, по всему видно. Мы вам ещё вот это назначим, да ещё это, дело и на поправку пойдёт...» Вижу, дело у неё совсем плохо, на глазах тает... Таким поддержка нужна. Конечно, и самой жалко, тяжёлая работа, не зря здесь больше, чем в других отделениях, платят...

Меня и главврач часто отмечает. «Ты, — говорит, — Веруша, как солнышко у нас, от тебя всегда свет». Раньше мучилась, что образования нет. А теперь вижу, что сестрой-то милосердия даже лучше, вот так надо жить, умеючи...

А ты говоришь: «Куда тебе деньги!..» Да деньги в наше время — всё! С этим остолопом без денег не проживёшь. Да и ты тоже в гараже этом забуксовала, словно другой работы не найти. Шла бы к нам няней, в два раза больше бы получала, правда, места пока нет, но я могу это устроить...

— Ой, что ты, что ты, — испуганно замахала руками мать. — Век не лежала в больнице, да и не думаю.

— Вот глупая! — засмеялась Вера. — Я же о работе, а не в больнице лежать...

— Всё равно не хочу, боюсь я этой больницы. Там столько людей умирает!.. Не вытерпеть мне.

— Да, тут ты права, умирают... — соглашалась Вера.

12

Алексею Лазарькову дали квартиру — как и мечталось Вере, в трёхэтажке, на самом верхнем этаже. Она первое время и от окон не

отходила: то к одному, то к другому подойдет, наслаждается.

— Вид какой, а! Во-он наш барак, — показывала пальцем, поднимая сына, — отсюда на овощехранилище похож, а ведь ещё недавно жили в нём. Бр-р-р...

— Хочу в барак, — насупившись, бурчал Валька. — Там Нина осталась.

— Ох, женишок ты наш! — смеялась над сыном Вера. — Мы тут лучше тебе невесту подыщем, с трёхкомнатной квартирой...

Были и такие в доме, но новоселам дали однокомнатную, правда, просторную, да с кухней.

Сестра устроила пышное новоселье, многих позвала, и в первую очередь — чету Шамшуковых, и свёкра со свекровью пригласить не забыла. Всем нравилась, довольная и счастливая, — всем старалась угодить.

А после новоселья стала обставлять квартиру мебелью. С каждым её заходом в магазин комната становилась меньше и меньше, к стенам налипали то комод, то шкаф платяной. Ещё для двух кроватей место надо было найти: купила и сыну, железную, с никелированными дужками, с шариками да шашечками, а старую — деревянную оставили в бараке, «чтоб клопы не переехали».

Валька однажды открутил шарик у новой кровати и чуть им не подавился — проглотил. Караулили, из горшка вынули, помыли да обратно прикрутили.

— Ты смотри у меня, — строго отчитывала мать, — по мебели новой ножками не пинай! Машинку можешь и по двору катать.

— Ничего, сын, — успокаивал плачущего Вальку отец. — Если что, мы с тобой в шкафу жить будем, поместимся.

Валька сразу же полез в шкаф и получил от матери очередной шлепок.

— Тебя тоже надо приструнить, чтоб не курил тут больше, — зыркнула потом на мужа. — Сам знаешь, у меня лёгкие слабые...

И с тех пор у Алексея выработалась привычка: где бы ни был, но когда закуривал, то садился на корточки, а пепел в ладошку стряхивал. Так привык на лестничной площадке курить, сидя на корточках и упираясь спиной в стену.

С новой квартирой Вера стала прижимать мужа ещё больше: надо было чем-то заполнять гигантский шкаф и пузатый комод. Но муж

пил не меньше, а насчёт разных заначек вся бригада у него в учениках ходила.

Стала однажды Вера свой плащ чистить — заграничный! — так нашла на нём кармашек непридельный, для виду пришитый снаружи, на груди. Стала она плащ встряхивать «вниз головой», тут-то и вылетела пятерка. Аккуратно сложенная, как муженёк обычно складывал, — была у него такая манера.

«Ах ты, паразит», — только и промолвила пораженная Вера. С тех пор пришлось ей и свои карманы проверять.

Но муж редко рисковал: старался сразу истратить что мог, — угостит всю компанию, а потом компания угощала его, надолго дело растягивалось.

Логункову казалось сперва, что зять так нарочно напивается, состязание с женой устраивает. Раз она «на барахло», как он выражался, деньги тратит, то он — на водку. Но после того как Алексей зачастил к ним, — (мать иногда брагу ставила, бывало, бутылку дома держала на случай, если сват придёт), — вот тогда и понял Логунков, что зять и вправду стал выпивохой. Ведь отец его тоже редко просыхал, а Володя уже тогда слышал поговорку про яблоню с яблоками...

Свёкра сняли с электриков, он поработал какое-то время слесарем («поближе к проходной»), потом в сторожа ночные перевели — это уже вовсе за проходной избушка стояла, где разный инструмент хранился, в основном — пожарный.

— Вот, сватыюшка, — говаривал, — теперь мы с тобой и по должности породнились, ты сторож, и я сторож. Налей-ка бражки стакан, шибастая она у тебя, так в нос ударит, кулака не надо...

Выперли меня потихоньку... И у дел, да не у дел. Я ведь на ГЭСе и до войны работал, эвакуировался вместе с ней, вернулся, восстанавливал... Ты можешь себе представить город без света? Вот и я не могу. — Сват подходил к выключателю, щёлкал им, врубая и вырубая свет. — Вот и меня так, сватыюшка, взяли и выключили, вывернули, как перегоревшую лампочку... Налей-ка мне ещё стаканчик, вкусная у тебя бражка и чистая как слеза. Я тебе, как умрёшь, такие тапочки сошью — залобуешься!

— Да как же я их увижу, если мёртвой лежать буду! — смеялась мать.

— Да на них и глядеть не надо будет, хорошие будут тапочки, ты уж поверь мне.

Когда заглядывал к Логунковым зять Алексей, он обычно начинал сразу с жалоб.

— Вот ты, мамаша, ну прямо золотая, лучше моей матери, честно скажу. А о дочери твоей и говорить не будем. И что за человек! Прямо сатана какая-то... — покосившись на дверь, он вставал, закрывал её на крючок и почти шёпотом спрашивал: — Мамаша, у тебя есть чего-нибудь глотнуть? А? Капни чего-нибудь, будь человеком!

— Ты, Алексей, не сердись на меня, но пить тебе больше не надо. И с жалобами ко мне не ходи, она же дочь мне, кровь родная...

— Правильно, дочь! Это понимать надо. И не плохая дочь, мамаша, верно тебе говорю. И красивая, и всё... Но зачем серьги-то на уши повесила? Золотые... Сначала брошь купила, я уж о кольцо не говорю... о перстне то есть... это пусть. Но серьги-то зачем? Золотушная она, что ли? Платьев в шкафу навесила — шёлковых, крепдешинowych, зачем? Теперь костюм хочет мне купить. А у меня и тот почти новенький. Мне носить-то когда? Я почти сплошь в командировках... Ну куда барахла столько, а? Ведь моль же съест. Ты вот ходишь в фуфаячке — и хорошо. Как люди, так и ты. А ей выше всех надо быть, на третий этаж забралась, как же! Мне ж ребята в бригаде глаза колют! Они что, хуже? У бригадира трое ребят, а в бараке живёт. Я что, лучше его, что ли, по опорам лазаю? Вот и злость берёт, и выпить иногда хочется... Уж налей, мамаша, а?

И мать сдавалась: наливала водки или бражки — когда что было. Зять выпивал, садился у плиты на корточки, закуривал.

— Ведь выходит, что не для себя она старается, барахло покупая, а для других — чтоб видели да завидовали... Нет, для себя что-то другое надо, я уж думал про это, да не придумал пока...

— Что надо... — кивала тётка. — Покой в семье надо. И уважение. Это добро за деньги не купишь...

— Вот, правильно, мамаша! Золотые слова! Да если б покой и уважение, я б из дому — никуда. Веришь ли, надоели мне эти команди-

ровки — во как! — зять проводил рукой по горлу. — Я ведь, мамаша, желудок испорчу, только чайной содой и спасаюсь — так иногда прихватит. Домой как в рай возвращаюсь: и суп, и каша... А тут тебе ангел в обличье сатаны: «Сколько в этом месяце получишь? Я тут без тебя придумала, что на премию купить...» Тыфу! Так и хочется фигой в нос ткнуть! Не с лаской мужа встречает, а со скребком, чтобы ещё такое с него соскоблить...

Веришь ли, обнимать в постели станет, а по мне — дрожь. Опять, кажется, обыскивать да обшаривать пошла, хоть и голенький, можно сказать, лежу. Вот ты какая жизнь! Хоть в петлю лезь!..

До чего дошло! Кассирше да бухгалтерше звонить стала: сколько начислили, сколько высчитали. Те прямо смеются надо мной. Пусть, говорят, к нам на работу переходит, будет за тебя получать. Чувствую, что до этого дело дойдёт. Тут как-то намекнула, что у недееспособных нет прав деньги получать. Это как же понимать? Работать — дееспособный, а получать — нет! И сделает, чую, что сделает! В больнице же работает, у нее не заржавеет...

Ну, ещё на походик налей, мамаша! Я сразу домой пойду, вечером — на поезд. Вот вместе с сыном и пойду, — кивает зять на сына Вальку, наказывает ему: — Только ты чтоб ни-ни... Скажешь, что папка чай у бабушки пил. Нет, лучше ничего не говори, она хитрая, сразу поймёт.

Однажды, когда в очередной раз зять навёдался к теще, туда тучей ворвалась Вера, устроила скандал. По-всякому обругала мать, опрокинула кадушку с брагой на пол, в комнате долго потом стоял неприятный запах. После того мать больше её не ставила.

13

Сон так и не шёл к Логункову. Вино ли подействовало или воспоминания разбредили душу?

В комнату сквозь ажурные тюлевые занавески падал свет от уличного фонаря. Сестра осталась верной себе: на тяжёлом карнизе висели и шторы, и тюль. В рассеянном свете с узорными тенями, которые медленно шевели-

лись от потока воздуха через открытую форточку, на стене над ковром было видно большое фото в раме. Алексей довольно улыбался, а взгляд у Веры был задумчивый, волосы над открытым лбом уложены валиком — модная в те годы причёска.

Оба красивые, молодые. Ну чем не пара?! Таким бы жить да жить! И если бы всё было хорошо, жили бы и теперь припеваючи, не старые еще. Характер определяет судьбу... А что ещё? Условия, окружение? Или ещё что-то? И как они прожили так долго — в таких-то отношениях!

Алексей — тот, ладно, привык к такому обхождению, ему это уже почти нормой казалось — все вывихи жены. Иногда он даже и хвалил её: для семьи же баба старается, не для чужих! Как на демонстрацию выйдут с бригадой, кто лучше всех одет? Он — Алексей Лазарьков! Пальто дорогое, костюм, кашне белое, шёлковое, шляпа на голове... И на работе, когда мужики в очередной раз угощали «потерпевшего» и, естественно, посмеивались, он не поддерживал их шутки, как бывало, не развивал их, добавляя чего-нибудь от себя, а пробовал и защищать свою Верку. Мол, баба по полтора дежурства вкалывает, легко ли ей? А что тряпки-растряпки, побрякушки разные — так это ж любая женщина любит! И деньги на книжке — плохо ли? На всякий пожарный случай... А что выпить не дает, всю получку требует — ну, тут уж ничего не поделаешь, характер такой, скуповата... И с Лёшкой всё выходило вроде бы понятно: «подкаблучный».

Но как сестра долгие годы терпела, если считала мужа пьяницей? Да что считала! Таких он и был. Что тут — любовь? Привязанность? Или зависимость от чужого мнения? Наверно, всё вместе.

Жили-жили и дожили: зять — в могиле, сестра — в больнице... Вера встанет ли теперь на ноги?..

И понял теперь Логунков! Нельзя было не понять после всего, что случилось: семья эта, с виду благополучная, с достатком, давно уже катилась к своему концу. И даже дети не могли приостановить этого движения. Наоборот, когда родился Толя — не тогда ли появилась в жизни этой семьи основательная трещина?

Уже когда Валька подрос, опять забеременев, Вера каждый раз тревожилась, боялась родить какого-нибудь уродца, мучилась, терзалась и в конце концов решалась на аборт — такие вещи были уже официально разрешены.

Логунков часто слышал, как они шушукуются с матерью, — не знал, правда, о чём бабы речь ведут. Но когда как-то в гости заваливался зять, всё стало известным.

— Мамаша, слышишь, опять ведь... Того, сковырнула, — пьяно жаловался он. — Ну что ей не родить, а? Я ещё парня хочу, а может, девку! Вы как думали? Что семья Лазарьковых на одном сыне и споткнулась, а? Я хочу, чтоб у меня живые дети по квартире бегали, а не кресла стояли. Слышь, мамаша, что опять надумала: мебель, говорит, надо сменить, эта не модная уже, состарилась... Это что ж, я всю жизнь и буду на мебель работать?!

— А ты бы пил меньше, родила бы она тебе ещё. Бойтся, что ненормальный родится, в тебе же смесь теперь, кровь водкой разбавлена... — говорила теща.

— Вот и ты туда же, мамаша. Я уж сколько раз ей объяснял, теперь и тебе надо: не я ведь рожу, а она! Разница-то есть! Кровь-то её, а не моя, как и молоко тоже... Она этой водки ни капельки в жизни не пригубила, ей-то что!

— Так вот и я говорю, да не хочет меня слушать, — говорила теща. — Про какие-то хромосомы говорит, грамотная слишком стала. Мне какие-то облатки принесла, память, говорит, улучшают. А по мне — так лучше и не иметь этой памяти, прости меня, господи.

— И мне говорила: хромосомы, гены... Знаю я эти гены... Геннадий Ильич у них там, новый заведующий, она перед ним на цырлах так и ходит, так и ходит... А может, от Гены это, а? Может, оттого и родить боится, что не на меня похож будет? Знаю, у них там диванчик в ординаторской стоит, я заглядывал туда недавно... — Зять неожиданно сорвался, хлопнул дверью.

Тёща испуганно крестилась, отодвигала занавески на окне, смотрела вслед. От частых пьянок у Алексея появился «синдром ревности», как объясняла Вера. Когда он не бывал в командировках, часто ходил в больницу, притаившись, ждал жену на лестнице, один раз даже

скандал устроил, ворвавшись с чёрного хода.

Оказывается, не зря она боялась. Толя, второй сын Лазарьковых, родился недоношенным, но не это главное. Обликом он был весь в отца — ему на радость, даже большой палец на правой руке был таким же приплюснутым и широким, как лопаточка. Печально было другое: рос он каким-то не совсем нормальным, заметно отличался от других детей. Бабка сразу отказалась с ним нянчиться: «Не могу справиться! На коленях не сидит, всё ему что-то надо! Выскользнет с рук — да под кровать или к порогу, к плите лезет, к самовару. Долго ли до греха!»

Насколько Валька был спокойным, даже на спине бабкиной спал да сны видел, настолько этот был егоза — полная противоположность. Необычную реактивность ребенка отмечали и в яслях, а потом в садике. «Нам теперь и дворника не надо, — шутила воспитательница. — Лопату ваш Толя возьмёт, дорожки почистит, готов весь снег за ограду выкидать. И откуда в нём такая энергия!..»

Став постарше, он убежал куда-нибудь в город, — часто приходилось искать. Находили то где-нибудь на стройке (кирпичи перекладывал с места на место), то копающимся на городской свалке (на машине прокатали), то ещё где-нибудь. За ним надо было следить и следить! А когда пошёл в школу, то учителя быстро определили, что ребёнок умственно отсталый. К большому горю родителей, его пришлось отправить в специальную школу-интернат далеко от города, в лесной поселок.

Об этом Логункову написали в письме, он в то время уже в армии служил.

В интернате за Толей, видно, плохо следили: обувал резиновые сапоги без носков и портянок, заболел ревматизмом — сказалося на сердце. Так его, больного, вернули домой.

С горем пополам Толя окончил восемь классов, потом в вечерней школе какое-то время учился, когда уже работал, но знаний у него так и не прибавилось.

Мать с ним намучилась. А отец стал пить ещё чаще, теперь-то, когда в семье такое, он имел полное право оглушать себя...

Пьяный муж и больной сын — с этим Вере трудно было справиться. А от Валентина какая подмога? У того мотоцикл на уме, магнито-

фон, узкие брюки да штиблеты на толстой подошве — в стилиаги записался.

Валентин был единственным, кого можно было показать, похвастаться: рослый, румяный, кудрявый херувимчик с голубыми глазами, разбирающийся в рок-н-роллах и остальных «атрибутах» тогдашней моды. Мать не жалела на него денег, был он всегда одет с иголочки, чего старший ни попросит — ни в чём старалась не отказывать, к тому же связи, чтобы достать, к примеру, нейлоновую рубашку или другой какой дефицит, у неё были.

Словом, Валентин был в семье лицом неприкосновенным. Не совсем успешно, но и не так, чтобы совсем уж плохо, окончил среднюю школу. Мать много ставила на него. Словно бы он, старший сын, всё должен был покрыть: бедные, нищие годы детства и юности, непутёвого мужа-отца, да ещё такое несчастье в придачу, как больной, неполноценный братец Толя.

Вера долгие годы жила в напряжении, и это сказалось на её здоровье. Она пополнела. «Весь гардероб свой надо менять!» Стала рыхлой, поднялось давление. И однажды с ней случился удар. Пошла в туалет, а выйти не может. Хорошо ещё, муж был не в командировке: выволок её, уложил на кровать, вызвал скорую. Отнялась тогда у Веры правая сторона тела.

— ...Представляешь, мамаша, — рассказывал потом Алексей теще, — я как раз журнал интересный читал. Читаю и вдруг слышу, словно бы мычит и мяукает кто-то!.. Кто, думаю? У нас же ни кошки, ни собаки, сама знаешь, сроду не бывало. «Гигиена»! Заглядываю в туалет, а она там лежит на боку, в стену уперлась. Ну, я её быстро — на кровать. Да скорую, до телефонной будки в одних штанах бежал, даже рубахи не надел, вот ведь как!..

Первое время муж меньше пил, ухаживал за больной, как выписали из больницы, учил ходить. И полы даже сам мыл. Бельё приходила стирать теща.

Но болезнь эта быстро не проходит. Чтобы одолеть, нужен характер, а Вера словно совсем сломалась — только и знала, что плакать да сетовать на судьбу. После ВТЭК ей дали третью группу инвалидности. Она считала это несправедливостью. Чуть отапорилась¹, смогла потихоньку ходить, то знала только одну

дорогу — в поликлинику, всех врачей за день обойдет. Ей сочувствовали, выслушивали и осматривали — как же, свой кадр! — но сделать ничего не могли.

А муж Алексей долго не мог терпеть, вернулся к своим командировкам. Так решил: «Только уже большой, может за матерью ухаживать». Валентин после десятилетки учиться дальше не пошёл, устроился на ГЭС, поработал, а потом его взяли в армию.

Старшему Лазарькову теперь дома свободнее дышалось: и в магазин доверили ходить за продуктами. А иметь рубль, к примеру, сдачи да пивка не выпить — он считал за грех.

— Пусть бога благодарит, что ухаживаю! Другой бы мужик стал это делать? Да никогда! А вы как думали... Другой... другую бы нашёл.

И он говорил об этом же и жене своей, пьяно перечисляя собственные заслуги, тем невольно внушил ей мысль «о другой». С той поры они как бы поменялись ролями: Вера стала ревновать.

— Я хоть и больная, но знай!.. Приползу, кассиршу эту вашу изничтожу, **** такую! — Почему подозрение падало на кассиршу — одному богу известно.

— Ха-ха! — смеялся Лёшка. — Это ты-то изничтожишь? Ну, давай, давай, посмотрим, как это у тебя получится. У нас же за кассира Ванька Палтусов теперь работает, ха-ха!

Помаленьку-полегоньку, но сестра входила в прежнюю власть над мужем. Ей помогали сердобольные соседки, подружки, а женская хитрость да мудрость, если к тому же она коллективная, многое может.

Зятя вызывали в профком, разбирались, выговаривали. Наконец начальством было решено, чтобы деньги получал не муж, а жена. Поскольку та немощная, поручили приносить его зарплату на дом, как бы по доверенности. Был ли здесь нарушен закон, нет ли — неизвестно. Лёша грозился написать в газету, чтобы «восстановили его человеческие права». Писал ли туда — тоже осталось неизвестным.

И, вероятно, в отместку он и решил покончить с собой. Накануне обошёл многих знакомых, родных, был у своей матери, у двоюрод-

¹ Отапорилась — пошла на поправку, выздоровела.

ной сестры, — всем жаловался на свою жизнь. К вечеру наугошался, а утром и случилось.

«Но, может, он только попугать хотел? Ведь-ро-то мусорное в туалете было опрокинуто, загреметь должно! Или он уже в конвульсиях его опрокинул? — думал Логунков, сон к нему не шёл в эту ночь. — Сестра говорила, что он выходил курить, а потом снова ложился, засыпал, храпел... Не может же человек, задумав такое, спать до храпа!.. А записку он много раньше написал, замасленная, грязная была записка».

Недалеко от дома проходила железная дорога, и, когда проезжал поезд, в стенке тихо позванивал хрусталь. Логункову вспомнилось, что стопки и рюмки на поминках были соседские.

«Ну вот зачем ей нужен был этот хрусталь?! Ни разу не пили из него, не ели... Для виду, для красоты?! Для престижа?! Вот люстра висит, тоже хрустальная, так от неё хоть толк какой-то! Сама же долгие годы воевала с мужем, а рюмки, хоть и хрустальные, покупала! Зачем, для чего?»

Логунков вспомнил, что с первой своей полочки решил купить всем подарки. Матери — платок, зятю — галстук, племяннику Вальке, тогда ещё пацану, — пистолет с пистонами. А сестре хотелось ему купить необыкновенный какой-нибудь подарок, знал её привередливость и знание в этом деле. К тому же Верин день рождения как раз подходил.

Первую часть подарка он быстро нашёл: жёлтую керамическую посудину, сработанную под туесок. А вот за второй частью пришлось съездить в деревню, к старым своим знакомым.

Волнуясь и смущаясь, принёс ей этот туесок, наполненный доверху ржаной мукой — в городе такой не сыскать! Когда сестра открыла крышку, Логунков заметил, как интерес в её глазах сменился разочарованием.

— Спасибо, братец, за подарок. Только теперь мы ведь не голодные... Что из этой муки — загустку варить? — и чуть ли не брезгливо поставила посудину на верхнюю полку в кухне, мол, только место теперь будет занимать.

А уж он-то старался тогда, думал, что сестра поймёт и обрадуется подарку брата.

Теперь Логункову захотелось подняться и пройти на кухню, посмотреть, жив ли этот глиняный туесок. Но он боялся разбудить нес-

покойно спавшего Толю: паркет в комнате был скрипучим.

Когда проходил поезд, люстра тихо позванивала, темный круг от неё на потолке со светлым пятнышком посередине вдруг напомнил Логункову о пластинке. Ему невольно слышалось, что колёса поезда отбивают ритм того далекого танго...

Вспомнился вчерашний взгляд сестры — будто просила о чём-то. Сегодня утром Логунков опять увидит этот взгляд... И почувствовал такую тоску, что невольно скорчился на диване, поджал колени и застонал. Он вдруг ясно увидел всю безысходность того, что случилось, всё горе этой семьи, родной для него.

«Что-то надо делать! Помочь как-то сестре, Толе, пока не поздно, — лихорадочно старался думать он, но тоска сбивала все мысли, наваливаясь неотвратимо всей правдой: поздно, поздно... — Сестре ты уже ничем не можешь. Даже если к себе возьмешь, к матери, на ноги её теперь не поставить. Толе помочь? Он уже давно взрослый, не привяжешь такого к себе. Раньше надо было! Раньше всем по-пу-тёвому жить, всем нам...»

Да, так выходило, что и Логунков виноват, хотя вины своей он ещё не ведал, не знал, в чем она. Он только чувствовал близкую родственность, так неожиданно открывшуюся ему сейчас, во мраке ночи.

«Этот взгляд её вчерашний... Это он всё во мне перевернул! Ведь как они жили: каждый сам по себе. Иногда друг к другу в гости наезжали, правда, редко в последнее время. Вере ж жена моя не нравилась: «простая уж очень...»

Приехав навестить Логунковых, сестра больше с матерью говорила, шушукались в комнате о чем-то своем, потом «инспекцию» всегда наводила: не то купили, не туда поставили... Кому такое понравится?

— Эх, на твои бы деньги, браток, я бы так эту квартиру обставила — любо-дорого! А она, — показывала глазами на кухню, где жена Логункова стряпала для гостей, — не умеет жить. Ты уж не спорь с сестрой...

Да не так много и получал Логунков, работая мастером на заводе. Ну, может, на десятку-другую больше зятя.

— Э, сравнил тоже! Ты не пьешь зато, всё до

копеечки приносишь... — ответила на это сестра.

Жена Логункова, конечно же, чувствовала неприязнь Веры, но терпела, гостью привечала.

А той бы тоже навстречу пойти... Так нет, даже «пересолит» иногда: «Вы уж тут матушку мою не обижайте. Что-то холодновато в ее комнатке, окна-то затыкать надо». А в комнате матери так жарко, что форточка весь день открыта.

Плохо было и то, что после каждого приезда дочери мать долго отходила, надо было ждать, когда войдет в свою колею. Видно, Вера её обрабатывала, а постаревшая мать, впадавшая иногда, как многие старики, «в детство», всему верила.

Когда Логунковы в Горск приезжали, тут начинались сплошные конфликты. Зять радостно хлопал ладошками по бокам, быстро собирался в магазин: бутылочка нужна!

А вы как думали, гости же!

— Ну, запрыгал, как козел! Обрадовался! Тебе бы только повод. Сядь на задницу и сиди, ничего не получишь! — осаживала его жена.

Когда же Алексей был в командировке, сестра начинала плакаться: жаловалась, на одну тему говорить могла бесконечно, повторяя каждый раз одно и то же. Возвращаясь домой, Логунков чувствовал себя прямо-таки разбитым, словно ему бока помяли.

Однажды сестра обратилась к нему с просьбой: мол, пусть Валентина ненадолго пожить. Случилось это после свадьбы, когда тот вернулся из армии.

«Поторопился, хоть бы погулял после службы. Вишь, в школе учились вместе, не смогла отговорить, — сетовала на скорую женитьбу сына Вера. — Девка из семьи-то вроде хорошей, ладно уж, пусть...»

Свадьбу сыграли, подаренный молодым сервиз Вера поставила в свою стенку: «Пусть здесь постоит, не разобьётся, не запылится. Квартиру дадут — получите в целости и сохранности». Но до квартиры было ещё далеко, молодая жена оканчивала университет, училась на последнем курсе, жила в общежитии.

— ...Ты Валентина пропиши. Он там на работу устроится, дадут со временем чего-нибудь. Нельзя же теперь им врозь жить!..

Логункову было нетрудно прописать. Валентин устроился на работу, и вскоре им дали комнату в семейном общежитии. «Ладно, когда-нибудь и мы в ваш город переедем, как-никак покрупнее нашего Горска чуток», — говорила иногда Вера.

«Вот и переехала», — ворочался на диване Логунков. Воспоминания недавнего времени, когда все было относительно хорошо, как-то приуспокоили его, словно бы снова окунули в жизнь. Приступ отчаянной тоски прошел.

Зятя уже не вернёшь, но с сестрой что-то надо делать, и с Толей тоже. Нельзя его одного тут оставлять.

«Может быть, квартиру обменять! — осенило Логункова. Мысль эта показалась ему спасительной. — Если обменять, то они снова соберутся вместе, в одном городе: сестра и сыновья её — Валентин, Толя... А жена Валентина поухаживает, когда надо, за больной свекровью. Уж не откажется, наверно! И мать тогда будет чаще Веру видеть, ей ведь тоже нелегко переживать, на расстоянии-то... Так и надо сделать! — и Логунков даже пристукнул кулаком по диванной подушке. — И мы ещё сыграем «Брызги шампанского». Надо утром не забыть спросить у Толи, сохранилась ли эта пластинка. Вроде бы Валентин говорил, в гараже целая груда пластинок, мол, мать хотела выкинуть это барахло, а отец не позволил — отнёс пластинки в гараж. Надо будет спросить...» — и с этой мыслью Логунков стал задумывать под тихое позвякивание люстры. Наконец сон совсем сморил его.



1

Маленькие домики для отдыхающих стояли на самом берегу, за ними начиналась длинная жёлтая полоса пляжа. А сам посёлок, чистый и аккуратный, был расположен над домиками, и, чтобы выйти из зоны отдыха, нужно было подниматься по железной лестнице. Каждая лесенка гудела под ногами, этот звук был похож отдалённо на звук колокола.

Леонид Розов просыпался под гогот гусей. Они каждое утро важно пересекали пляж, входили в море и, вытянувшись в линию, плыли вдоль берега — навстречу поднимающемуся солнцу.

Что-то их соединяло — гусей и солнце, потому что и вечером, когда пляж пустел и раскалённый диск медленно опускался в море, на берегу появлялись гуси, так же, как утром, плыли в его сторону вдоль берега. Гуси изгибали шеи, выклеывая что-то под собой, — со стороны казалось, что они бьют поклоны.

«Странно, — удивлялся Розов, — море, гуси и солнце...»

Жена и дочка еще спали. Леонид осторожно, чтобы не разбудить их, выходил из-под марлевого полога, которым был завешен дверной проём, чистил зубы и мылся под умывальником, приколотенным к стене домика, потом брал трёхлитровую банку на веранде и поднимался по гулкой лестнице.

Домики, стоявшие в ряд, оставались внизу, сверху они походили на скворечники. Розов шёл мимо высокого забора с вышкой, за которым жили пограничники, мимо домов, окружённых зеленью.

Рынка в посёлке не было. У продовольственного магазина на ящиках тары или прямо на траве сидели женщины, возле каждой стояла корзина или сумка, а сам товар лежал на разостланных газетах: персики, молодая картошка, варёные кукурузные початки, мёд в банках или в «палочках» — вместе с пыльцой и прополисом, цветы в ведре и даже старые книги и учебники, которые продавала всегда одна тетка, тихая и скучная, книг у неё никто не покупал.

Розов ждал, когда из-за поворота появится высокий парень в белом халате внакидку, впереди себя он катил тележку с начищенной, сверкающей флягой.

Подкатив, он легко скидывал флягу, ставил её на траву, щёлкал замком и открывал крышку. Сползая с крутых плеч, халат только мешал, потому, оглянувшись, парень скидывал его, обнажая мощный загорелый торс, и бросал в тележку.

За Розовым уже толпились отдыхающие, парень кивал ему, брал банку и доверху, до самых рубчиков, наполнял парным молоком.

Заразившись мощью такого богатыря, Розов легко нёс банку, обхватив горловину всеми пальцами, но рука скоро немела, приходилось поддерживать за донышко второй ладонью, и

молоко белыми струйками растекалось по пальцам.

Домики внизу, как улы, уже гудели приглушенными голосами, в море плескались и фыркали первые купальщики.

После завтрака они с женой и дочкой занимали место на пляже, купались. Леонид боялся медуз, не заплывал далеко, а выйдя на берег, ложился на песок. Следом из морских волн появлялась жена, устраивалась возле мужа, и он видел, что тело её покрылось загаром гуще, чем у него. «Ну, конечно, она ведь южанка, вот к ней и липнет солнце», — Розов ревниво оглядывал себя, сравнивая, — ему ещё далеко до «бронзы», скорее походил на варёного рака.

— Тебе нельзя больше загорать. Хватит. Сгоршишь и будешь потом маяться, — говорила жена, и от того, что она лежала вниз лицом, голос её, обычно звонкий, глухо уходил в песок.

— Знаешь, я не могу больше. Солнце, море — это хорошо, но я устал так вот лежать и ничего не делать. Давай махнём к твоим — ты говоришь, недалеко это. А оттуда — и домой, как раз на грибы успеем. Надоело здесь...

— Как хочешь, — вяло ответила жена.

— А по пути в Гурзуф заглянем, в Ботанический. Ты ведь там работала?

— Как хочешь, можно и в Ботанический.

Розов хорошо знал свою жену, несколько лет прожили вместе. Не деланное равнодушие он слышал в этих «как хочешь», а взаправдашное — и это его удивляло.

«Как же так, — думал он. — Вернуться на прежние места, где жил и работал раньше, и отнестись к этому с таким ледяным спокойствием! Да ещё к тому же...» Но тут Розов сдерживал себя, дальше начиналось запретное. Или, вернее сказать, главное, для чего он и предложил провести этот отпуск на юге. Всей семьей. Вместе. Именно вместе.

Обычно они проводили отпуск дома, на севере. Так что теперь, озирая по вечерам бескрайнюю гладь южного моря, — (днём-то оно не виделось: волны, толкотня купающихся, медузы и прочее умаливали его мощь, и только по вечерам оно раскрывало своё пространство), — Розов скучал по белым ночам, мшистым скалам, ночёвкам с рыбалкой.

И впрямь, что тут хорошего: ну, вода морская — целебная, говорят, ну, солнце... Так этого и дома хватает — воды и солнца, и даже лучше всё это, спокойнее, мягче. До фруктов и овощей он не особо охоч. Да и что, на севере, что ли, их нет? Есть, привозят. И по всему выходило, что на севере гораздо лучше проводить отпуск. Одна эта дорога чего стоит: там жди, там толкайся — заботы и нервогрёпка.

Жена на юг не просилась. Розов сам предложил: съездим, заодно и тётку твою повидаем. Идея витала в воздухе как бы сама собой, и путёвки им местком предложил вовремя.

Но Розов имел тайную цель в этой поездке, просто приспичило ему. Он был уверен, что жена не знала об этом, а цель была близка, — оттого так томился, лёжа на песке у самого синего моря.

Был он ещё молод, тридцать пять лет всего, — пора возмужания. Жена на семь лет моложе. Дочке этим летом пошёл шестой год — тонкая, высокая девочка, похожая на мать.

— Ну так как, решили? Сначала — в Гурзуф, дальше — в сад этот. Одним днём обернёмся, а потом — к тётке.

— Мне всё равно, можно и так. Смотри, как тебе лучше, ведь ты первый раз на море, а не я, — и жена, разрушив рукой только что построенную башенку из мелких ракушек, встала и пошла в море, в волны.

Розов посмотрел на её гибкое шоколадное тело в красном купальнике. «А ничего у меня жена», — отметил с удовольствием.

Такой же смуглой, загорелой она появилась в их лесном посёлке. Розов, работавший тогда механиком лесопункта, увидел её в библиотеке, которая наконец-то открылась после долгого перерыва. Прежняя-то библиотекарша, перечитав от корки до корки все имеющиеся книги, сбежала от комаров и скуки. Новенькая горячо взялась за дело.

Вскоре шофёр, возивший местное начальство, стал жаловаться: в его «газике» крен обозначился, всё книги да книги из города целыми пачками возит. Что, мол, она тут, публичку хочет открыть?

И Розов зачастил в библиотеку. Был он молод, холост, сам ещё недавно обустроился в

этом маленьком лесном посёлке, и смуглая библиотекарша приглянулась ему.

Иногда после какого-нибудь фильма, который и не смотреть бы лучше, — (аппаратура была до того износившейся, что звук «плавал» и гремел так, что после сеанса долго «отходили» уши), — они прогуливались меж сосен, росших вдоль улицы.

Соня жила по соседству в таком же дощатом домике, как и Розов. Ему нравилось бывать у неё. Она угощала его оладьями, черничниками — научилась их печь у тётки Даши, единственной в посёлке, кто держал корову. Пили чай с вареньем, говорили о книгах, ни объятий, ни поцелуев не было.

Впрочем, один раз Розов попробовал: купил две бутылки шампанского, завезённого на праздник, пригласил к себе в гости. Соня почти не пила, задумчиво смотрела в окно на близко подступавший лес, и в её серых глазах таилась простая девичья грусть, так понятная Розову. Он осмелился, подсел поближе, хотел обнять. Соня резко отбросила его руку и почти бегом выскочила из комнаты.

«Покуражиться хочет. А как же, знает себе цену...» — даже одобрил такое поведение Розов. Но постепенно стал замечать: над ним вроде как посмеиваются в посёлке. Бухгалтер Лидия Ивановна, средних лет женщина, опытная, знающая жизнь, — та однажды прямо ему сказала:

— Что, Леонид Сидорович, скоро вас поздравить можно будет?..

— С чем? — недоуменно спросил Розов, но почувствовал, что краской залилось его лицо. «На женитьбу намекает, здесь ведь ничего не утаишь, всё на глазах...»

— Да с прибавлением!.. Неужели вы ничего не замечаете? — искренне удивилась бухгалтерша. — Это же так теперь заметно...

И Розов вскоре понял — своими глазами увидел, на что намекала Лидия Ивановна. Вот так конфуз! Не девица, как это обычно случается, а он обманутым оказался. Да как же это? Не сказала ведь ничего, хоть бы намёком.

Но Леонид не совсем был дурак и понимал: в его новом, а точнее — в Сонином положении, отбиваться ему, а корчить из себя обиженного ещё хуже. Тут уж совсем срам.

Реже, но продолжал заходить к Соне, так же прогуливались они иногда, как раньше. Правда, он палку себе замысловатую вырезал — что-то вроде трости. По его замыслу, это должно было сгладить впечатление в глазах окружающих: ну, идут себе просто так, разговаривают о чём-то, наверно, о книгах, их теперь вон сколько в библиотеке — полки ломаются...

Никто не знал, как переживал Розов. Да, его жестоко обманули... Шагая возле Сони, он старался не смотреть на её живот, который выпирал теперь уже нахально, казался каким-то инородным, живущим отдельно от неё самой.

«Не предупредила раньше, ничего не сказала. Могла бы хоть намёком!» — с обидой и злостью думал Розов. Но думал и о том, с какой же стати она должна была ему говорить. В жены ему Соня не набивалась, да и в подружки... ну, в такие «подружки» — тоже. А если мужчина с женщиной дружат просто так, по-приятельски, то с какой же стати она должна выкладывать самое сокровенное? «Да, сокровенное! То есть тайное, секретное, дорогое, может быть, — ухватился за это слово внезапно пораженный Розов. Всего его прожгло незнакомым до этого чувством — ревностью. — Ведь у неё, значит, кто-то есть!.. Живёт где-то! Да не где-то, а там, на юге, в Крыму, откуда она приехала. О Гурзуфе она рассказывала... Увлечённо так. О том рассказывала, как там красиво: море, кипарисы, пальмы.. В тех краях у неё где-то место даже заветное есть, где она плавать любила, у камня какого-то».

И теперь Розов ругал себя, что раньше слушал её вполуха. Если б хорошо слушал, внимательно, с «пристрастием», может, и уловил бы чего из её рассказов, может, были ему какие-то намёки.

Соня рассказывала, как ходила в поход, в горы, как однажды их замело снегом, заблудились в тумане и, если бы не руководитель, опытный и сильный мужчина, может, и не выбрались бы... Вот это Розов запомнил, потому что удивился тогда: «Уж где в Крыму заблудиться можно? Полуостров-то всего с пятючок, это вам не глухомань карельская. Юг, море — и вдруг заблудиться, пропасть... Это Соне, наверно, таким страхом лишь показалось, а на самом-то деле...»

Розову теперь думалось: «А не тот ли «сильный и опытный» и совратил её? Воспользовавшись, так сказать, юной незащищенностью, нагнал страху, показал свою «силу»? Да нет, не может быть!» Так легче было думать: мол, совратил кто-то — значит, против её желания... И далёкие кипарисы, ласковое море, горы, пальмы — всё это стало для Розова чуть ли не отвратительным, он уже считал те «райские места» рассадником порока. Вспомнил почему-то «Даму с собачкой», даже взял в библиотеке, перечитал, что ещё больше настроило его против курортных мест. «Здесь, на севере, такого быть не могло! Здесь, милые, трудиться надо! — обращался он неизвестно к кому. — Здесь с собачкой да в берете не походишь, комары съедят...»

А Соня словно бы и не замечала перемены, столь явно обозначившейся. Наоборот, теперь она вроде бы стала с ним заигрывать, кокетничать, чего раньше за нею он не замечал. Начала прихорашиваться, от неё запахло духами...

«Вот-вот, давай раскрывайся, показывай своё истинное лицо, а я погляжу...» — с некоторым злорадством думал Розов и даже чуть торжествовал. Но в то же время ему и нравилась эта её «порочность», приятная лёгкость, с которой она теперь обращалась с ним, — это волновало и смущало Розова.

Как-то она совсем по-свойски оперлась на его руку, скинула туфельку, высыпала из неё песок и, шутя, чуть подтолкнула Розова: мол, недотепа, мог бы и сам снять. Раньше она такого себе не позволяла. Да и веселее стала Соня, беззаботнее, уже встречала его не как гостя, а по-другому, по-свойски: то воды ей принеси, то дров наколи — «калиточек-то хочешь, милый мой, пошевеливайся». Она первой перешла с Розовым на «ты».

«Ну, милая, не подрубишь, не запряжёшь! Этот номер не пройдёт! Калиток я могу и у тёти Даши поест, у неё вкуснее получают. Ей бы терзаться, будущей матери-одиночке, — мысленно корил Соню Розов, — а она, видите ли, веселится. Да неужели надеется, что я... Нет уж. Дружба дружбой, а жизнь врозь. Саночки-то теперь одна вези, с горки вместе не катались. Она там, у моря, жила в своё удовольствие... Не на того напала».

Но, уходя от Сони, о ней только и думал. Те-

перь книги у него задерживались — не читалось.

А вскоре её увезли в город, в больницу. Розов долго мучился: навестить или не навестить, удобно ли это будет или не совсем. Да вышло так, что за него решил начальник лесопункта: «Поезжай, Леонид, дела кое-какие есть, а заодно и к Соне заглянешь. Хорошая девушка, славная», — и по-отечески похлопал Розова по плечу.

Контора леспромхоза находилась в центре города. Леонид, справив служебные дела и купив на рынке цветов, пошёл искать родильный дом. В палату его не пустили, разговаривали они с Соней через форточку.

— ...Дочь у меня, до-о-очь! — округляя небольшую ротик, тянула Соня это слово.

Рядом была дорога, проезжали тяжёлые машины, и со второго этажа, да еще в форточку, её было плохо слышно.

В синем халате, который явно был на несколько размеров больше, чем нужно, Соня казалась трогательно беспомощной. Она держалась за переплёт рамы, и из закатанных рукавов торчали тонкие смуглые руки.

«Ведь ей сейчас обязательно нужен кто-нибудь из самых близких», — догадка горячей волной обожгла Розова, с ужасом подумал, что если бы не начальник лесопункта, то он, может быть, и не приехал бы, не стоял бы сейчас здесь, под окном. «Ну, дочь — это лучше, чем сын», — почему-то решил, возвращаясь поздно вечером домой.

С рождением ребенка отношения их не изменились, поэтому Розову волей-неволей приходилось участвовать в воспитании девочки. С Соней они проштудировали книгу профессора Аркина «Воспитание в семье» — нашлась и такая в библиотеке. Оказалось, ребёнка нужно воспитывать с самых первых дней, а не только ухаживать за ним. Автор, медик и педагог (удачное сочетание!), начал писать книгу ещё до войны, издали её в 1949 году, так что все принципы, методы, приёмы воспитания очень подходили для малышки.

Девочка росла шустрой, начала ходить — и года не было. Смешно и радостно было Розову играть с нею возле дома, когда Катерина — Соня назвала её в честь своей мамы — скрывалась в высокой траве с макушкой, а он, большой и

сильный, находил, как большого птенца, по звонкому птичьему голосу.

Катя, как и всякий ребёнок в этом возрасте, начала по слогам произносить слова, уже хорошо выговаривала «мама» и «баба» — так она называла тётю Дашу, приносившую молоко. Но некоторые слоги девочка произносила произвольно, словно пробуя их на языке. А Розов почти до суеверия побаивался: вдруг скажет однажды «папа». Ведь так просто, само с языка слететь может. Тогда он, чтобы этого, не дай бог, не случилось, научил её своему имени. Теперь, встречая его, Катя радостно тянула: «Лё-ня».

Из книги Аркина Розов знал, что к двум годам словарный запас у ребёнка достигает трёхсот слов. Чего к тому времени насобирает Катя — неизвестно. Слово «дядя» Катя уже знала, называла так всех мужчин, кто попадал в поле её зрения, но Розова она звала только по имени, и это доставляло ему удовольствие.

Когда Соня уезжала по какой-нибудь надобности в город, а случалось это обычно в выходные, Розов оставался с девочкой.

2

Неожиданно прошёл слух, что лесопункт скоро закроется: запасы леса подходят к концу, на делянки ездят чуть ли не за сорок километров. Кому-кому, а Леониду Розову, механику лесопункта, лучше всех было известно, за сколько километров ездят за лесом, ведь вся колёсная и гусеничная техника была под его началом. Он не на шутку встревожился: свернут лесопункт — посёлка не будет. Унылое зрелище — заброшенные лесные посёлки.

О работе Розов не беспокоился, с такой специальностью, как у него, везде нужен, даже в городе. Встревожился потому, что с закрытием лесопункта нарушится весь уклад его жизни. Он нисколько не жалел, что его молодость проходит в глуши: любил тишину, покой, природу.

Правда, случались иногда заторы на работе, особенно в ударные весенние месяцы. Но Розову и тут повезло: водители лесовозов, трактористы — почти все кадровики², работали в лесу давно, дело своё хорошо знали. Когда вы-

ходил из строя лесовоз или трелевочный трактор, старались как-то сами выкручиваться, не надеясь на помощь со стороны, поэтому и запчасти у них всегда были.

А Розова в леспромхозе ценили. «Сидорович — парень с головой, такому не только участок, весь леспромхоз можно доверить», — говорили о нём рабочие. Леониду нравилось такое уважение. Но и понимал: большая ли заслуга, если человек, как положено, просто исполняет свои обязанности?.. Знаний, полученных в лесотехническом техникуме, пока хватало, опыт постепенно пришёл. А вот наличие под рукой нужных запчастей — всегда большой вопрос для любого механизированного хозяйства. Вот за это Розов был благодарен своему предшественнику Ивану Кузьмичу, которого продвинули выше, в руководство леспромхоза. Он-то научил Розова разным премудростям.

Вот, к примеру, щит у трелевочника... Что и говорить — крепок, да хрюскают по нему комли еловые, сосновые так, что через год эксплуатации рёбра на нём выпирают, как крестец у худой коровы. Но сам-то щит, мятый, искореженный, может послужить ещё несколько лет. А если новые предлагают — грех отказываться, ведь вместе с ними дают и резиновые подушки, прокладки, на которых он лежит... Детали копеечные, но быстро летят, а если без них работать, нарушится амортизация, вся тяжесть древесного вoза давит непосредственно на раму, значит, и на задний мост, на кардане это сказывается. Вот механик и должен это видеть. Да что видеть! Чувствовать, словно не трактор, а сам он этот воз многотонный тащит по пням да колодинам.

И Розов не отказывался от новых щитов, заменял битые и перебитые, а старые сдавал в металлолом. У нерадивых хозяев и прежние щиты, конечно, могли бы ещё «послужить». Но то разве ж защита? Так, искореженный пласт железа, потому что заменять лень.

Не доводить до полного износа технику, машину или трактор — вот его правило, принятое от предшественника Ивана Кузьмича как бы по наследству вместе со всем хозяйством. И

² Кадровик — здесь «тот, кто принадлежит к основным кадрам предприятия».

ещё одно: пока работает — пусть работает. От того-то вокруг гаража в их лесопункте не было «кладбища» старых машин и тракторов, заржавленных остовов, груды гусениц и брошенных прицепов.

Когда случалось бывать в других лесных посёлках, Розов всегда неприятно поражали унылые окрестности гаражей. Исковерканная гусеницами, выжженная соляжкой и мазутом земля, горы ржавого металла... Словно танковое побоище прошло. Этот хаос Розов невольно переносил на всё хозяйство и на людей, там работавших. Хороший механик такого бы не допустил.

С Сониной помощью Розов подобрал литературу, изучил её и начал писать об эстетике труда лесозаготовителей и механизаторов лесного хозяйства. Ему уже даже виделась брошюра! А главная мысль такая: по специфике своего труда лесозаготовитель живет в центре природы, а её надо беречь. Знал Леонид, конечно, что идея не новая. Однако ж предшественники больше обращали внимание на организацию работы на лесных участках — мол, подрост нужно сохранять, заботиться о чистоте лесосек. А Розов был убеждён: начинать нужно с «самого дома» — с лесного посёлка, где живет лесозаготовитель. И от гаража — «горячего места», сердца любого поселка, — шли в его рукописи концентрические окружности, захватывающие постепенно и всё остальное.

«Не радуют глаз эти стандартные щитовые дома и бараки со штабелями напиленных дров под окнами. Часто построенные без какой-либо планировки, посёлки являют собой плачевный вид. Убогий фасад клуба, приземистая, похожая на дровяной сарай школа, неизменный обкоренный столб с невыключающимся с утра до ночи ревущим репродуктором, случайно уцелевшие сосны с сухими стволами, ободранными машинами, тракторами. Да ещё столбы с проводами, на которых скрежещут, раскачиваются ржавые, допотопные тарелки отражателей, да еще крестообразный лес телеантенн, да пыльные закоулки с изломанными дощатыми тротуарами — вот вид современного лесного поселка».

Розов писал, что в сельской местности теперь стали строить красивые и удобные дома,

заслуживают их и лесозаготовители, чей труд важен для народного хозяйства, что пора и архитекторам «прийти в рощи и чащи», что время дощатых домов, бараков прошло.

Леониду предстояло ещё основательно поработать над рукописью, он планировал подключить и Ивана Кузьмича. Ему мечталось, чтобы фамилия наставника первой стояла на обложке — как соавтора! Но всё перечеркнула новость: лесопункт закроют.

«Чёрт с ней, с книжкой», — думал Розов. Ему казалось, что, если осиротеет их посёлок, тогда она ни к чему. Но что же будет с посёлком, с гремучей рекой Лижмой, с Диановой горой над нею, с чистой и светлой ламбушкой в опраре сосен и белого пушистого мха? Нет, не ночных рыбалок ему было жалко! Жалко было этого чудного лесного края, с которым он уже слился и считал родным.

И, главное, что же тогда будет с Соней, с Катей? Куда они-то денутся?! Только теперь Розов ясно почувствовал, что и без них ему не прожить...

Новость Леонид услышал в гараже от автослесаря Ражиева, всегда хмурого, недовольного. «Всё, манатки собирать надо. Эмиграция...» — ворчал тот себе под нос. «Не эмиграция, а миграция», — в другой раз поправил бы его Розов, но в тот момент было не до этого. Подтвердился дурной слух в самом людном месте по утрам — в магазине, в который Леонид заскочил за сигаретами. Женщины были встревожены, у всех одно на языке: «Закроют, куда же деваться? Куда?»

Розов зашёл к Соне. Она уже знала новость от тети Даши, но отнеслась к ней спокойно. «Ну что ж, разъедемся все, кто куда, пожелаем друг другу доброго пути...» — так и сказала.

Можно было дожидаться начальника лесопункта — уточнить у него. Но тот уже три дня как уехал в город. Тогда и Леонид решил ехать туда же.

Мощный мотоцикл ревел на крутых подъемах, по сторонам дороги шли сплошные вырубki, заросшие мелколесьем. Розов помнил: когда он впервые приехал сюда, здесь стоял могучий сосновый лес. Подумал: «Да, изрядно почистили. Когда-то теперь новый вырастет...»

Но тут же мысли его перескочили на другое. «Доброго пути... Доброго пути...» — звучали в голове Сонины слова. Это, значит, и ему доб-

рого пути? И разъедутся они навсегда. А как же их «образцово-показательный садик», который уже набирал силу под окнами Сони! Зачахнут, засохнут. Вместе посадили несколько деревьев, кусты смородины, клумбы цветочные разбили, соорудили горку из камней — «английский сад»... С речных лижемских перекатов в мотоциклетной коляске Розов специально навозил разноцветных причудливых булыжников.

С такими вот думами мчался Леонид и чуть не врезался на повороте в катившийся навстречу «газик», в котором возвращался начальник. Остановились оба. Тут же, на дороге, Розов и узнал, что закрывают не их лесопункт, а соседний, «Нижний» называется. Так вот угодыя «Нижнего» им переводят, вдобавок к оставшимся.

— Так что работы лет на десять хватит. Вот такая перспектива! — весело закончил начальник.

И Розов, круто развернув мотоцикл, помчался впереди «газика» с радостной вестью.

3

Если начать вспоминать, Розов, пожалуй, не смог бы назвать точный день, с которого они с Соней стали жить вместе — как муж и жена. Всё это было подготовлено отношениями, которые сложились между ними. Так что само собой и произошло. В посёлке-то их уже давно считали мужем и женой. Но события осеннего вечера накануне перехода в Сонин дом запомнились Розову на всю жизнь.

Они возвращались из клуба, где смотрели итальянское кино о многодетной семье. Фильм бесхитростный, очень уж «житейский», с простыми человеческими горестями и радостями, правда, с уклоном в известную экзальтированность, горячность южан.

Розов был впечатлительным. Прежде чем высказать мнение, он долго отходил от того, что волновало его, поражало, к тому же не мог смириться с тем, что кому-то нужно сразу обсудить, прокомментировать каждую деталь. Леонид, наоборот, как будто попадал под чары от увиденного. Ему даже хотелось скрыться куда-нибудь, чтобы подумать наедине с собой.

Соня знала об этой причуде, потому обычно щадила его — ждала, когда он сам начнёт раз-

говор. Но в тот вечер всё сложилось иначе: не утерпев, она почти сразу завела речь о картине. Настолько ей понравилась героиня — самоотверженная мать!

Розов надулся, на лице его появилась досада. Он попытался закурить, но ломал спички одну за другой. И Соня, наблюдая за его попытками, залилась звонким смехом, потом взяла Розова под руку, тесно прижалась, стараясь подстроиться под его шаг.

«А ведь ты похож на этого итальянца, только тот мямля в большей степени, чем ты», — подумалось тогда Розову.

Счастливым смех Сони подействовал на него, Леонид обмяк, осторожно высвободил свою руку и сжал её ладонь. Было прохладно. Соня поёжилась и просунула его ладонь вместе со своей в широкий карман нового длинного пальто. Так они и шли — рука в руке. На каждое его пожатие или ласковое поглаживание Соня отвечала тем же.

Подшли к Сониному дому, постояли у окна, прислушиваясь. Катя, как обычно в это время, крепко спала. И Соня шёпотом предложила прогуляться к Диановой горе.

По обеим сторонам дороги редкими золотыми точками горели светляки, а впереди, над крутым подъёмом, сияла полная луна. Снизу казалось, ещё миг — и это большое золотое колесо повернётся ребром да покатится вниз, прямо на них, заливая всё вокруг серебряно-золотистым светом.

Ночами Дианова гора представлялась ещё выше, чем была, а далеко внизу струилась, ворчливо шумела река, от неё поднималась свежесть.

Соня стояла, прижавшись к Розову, и, чуть запрокинув голову, смотрела на него. На её лицо наплыла тень, оно словно бы отдалилось от Леонида, и он, чтобы не потерять его, такое родное и близкое, наклонился вслед...

А когда луна освободилась из-под облачка, словно смахнула с себя лёгкое покрывало, всё вокруг осветилось. Тогда Розов увидел: в глазах Сони стояли слёзы.

Они-то, эти слёзы, и запомнились Розову с той ночи, ибо он не знал, были ли они слезами счастья...

4

С тех пор прошло несколько лет. И вот они всем семейством на юге, куда, в общем-то, стремились только Розов и Катя. Девочке шёл шестой год, дальняя поездка, конечно же, радовала её. Как же хотелось ей увидеть море! Катя так надеялась увидеть золотую рыбку! Рыбок, выловленных папой в реке, она называла серебряными.

Девочка уже давно звала Розова папой, поначалу — папой Лёней. Почти сразу же после регистрации брака с Соней он удочерил Катерину, а документ об этом сжёг, чтобы и следа не осталось, что не родной отец. Правда, одно Розова беспокоило: мало ли злые языки найдутся. Но его утешала надежда, что к тому времени, когда дочь повзрослеет, посёлок закроют, а они уедут.

Волновало его и другое...

Однажды Соня попросила мужа найти фотокарточки — хотела показать Крым тёте Даше, принёсшей им молоко. Розову пришлось рыться в Сонином чемодане, тогда он и наткнулся на морскую раковину с круглым стеклышком. Пакет с фотографиями он отнёс на кухню, где разговаривали женщины. Сам вернулся в комнату, но, прежде чем закрыть чемодан, не удержался — заглянул внутрь раковины.

Посмотрел и чуть не выронил из рук! На набережной под пальмами стояла Соня с каким-то парнем! В первый момент Розов даже растерялся, сунул раковину в чемодан и спешно его захлопнул.

Он ничего тогда не сказал Соне, хотя очень хотелось спросить, кто этот парень. Розову почему-то представилось, что это он стоит. Иначе с какой стати им было фотографироваться вдвоём, да ещё вставлять фото в раковину?

С того случая Соня на какое-то время как бы раздвоилась для мужа, и та Соня, что стояла под пальмами, была даже милее и желаннее ему... Нет, внешне они мало различались, правда, та, что под пальмами, была совсем юной. Она стояла в коротком платьице, как бы несколько отстранившись от парня. Было в девичьей фигуре что-то беспомощное и незащищенное — такое, что Розову хотелось разбить раковину, взять девушку за руку и вывести оттуда.

Парень с фото, напротив, стоял на ногах твёрдо, вся его поза являла собой уверенность и благополучие. Ростом он был почти с Соней, может, чуть повыше, плотный, в широких штанах и рубашке с короткими рукавами.

Тайком Розов изучил эту фотографию до мельчайших подробностей, даже чайку увидел: белый лоскуток над синей водой. И то, что парень мал ростом, пожалуй, на две головы был ниже Розова, да и в плечах пожиже, доставляло ему некоторое удовольствие. Но чувство сожаления, что это не он, Леонид, так близко стоит к тогдашней Соне, было все-таки сильнее. Оно и мешало сказать обо всём жене.

Розов понимал, что поступает нехорошо, тайком подглядывая туда, за стеклышко, в прежнюю жизнь жены, но иначе поступить не мог, ведь это же его Соня и он должен знать о ней всё. Вот тогда-то и стал поговаривать о том, что неплохо бы было им съездить на юг, заодно побывать в Ботаническом саду, где она работала в техническом отделе библиотекарем, и в Гурзуфе, где у неё были любимые места...

Нет, Соня не таила в себе прошлое — напротив, была даже очень откровенна с мужем, особенно в первое время их совместной жизни. И о Яне, Катином отце, не умолчала. Но Розов чувствовал или догадывался: то, что она говорила о нём, уже сглажено, стусевано памятью. Соня как будто рассказывала не всё, а только то, что было выверено временем, — вспоминала, как бы со стороны глядя на пережитое, — со «своей» стороны. И муж с сожалением понимал: иначе никак. Не может она рассказать о самом главном для него: что именно произошло, почему они расстались, какой он был человек и что за причина, по которой он остался там, а она, беременная, забралась так далеко на Север, в самую что ни на есть глухомань.

Розов слушал воспоминания Сони с настоящим внутренним вниманием, внешне стараясь казаться равнодушным, но всё же информация путалась у него в голове. Приходилось переспрашивать. Тогда жена с удивлением и некоторым раздражением замечала, что о том она уже не раз говорила! До ссор не доходило, но неприятный осадок всегда оставался, и постепенно они прекратили эти разговоры.

«О том, что у него есть дочь, он не узнает. Я уехала, не простившись с ним, как только поняла, что беременна. И где я, он тоже не знает», — как бы успокаивала Соня мужа. И у Розова не было причин не верить ей. Но само обстоятельство, что Катин отец где-то живёт, иногда мучило его. Да ещё эта случайно обнаруженная раковина! Парень, что стоит там, на набережной, никак не соответствовал тому образу, который сложился в голове Розова по рассказам жены.

«Завести бы речь об этой раковине с окошечком... Как будто только что случайно увидел...» — подумывал Розов. Но не решался. Вдруг обнаружится то самое главное, о чём, по его предположениям, Соня умалчивает? Или, застигнутая врасплох, как-нибудь выдаст себя, и станет ясно, что она ещё любит того Яна. Ведь нельзя же одновременно любить двоих, а к Розову она просто привыкла — живёт с ним, чтобы не растить дочку одной. Тогда ведь, на Диановой горе, у нее на глазах были слёзы, а не счастье... Или вовсе окажется, что всё, сказанное о тех отношениях, — полуправда? Нет, полуправда ещё хуже лжи. Тогда рухнет тот кусок жизни, который Розов знаком с Соней, а теперь это для него уже целый мир... Вот чего Розов боялся — своего поражения, потому молчал о фотографии в раковине.

«Если её больше не томит прошлое, то сама и покажет, и расскажет», — решил Леонид. Ему казалось, что поездка на юг, в те места, где жила Соня, подтолкнёт её к этому.

5

После обеда на скорую руку Розов сдал пляжный домик. На рейсовом автобусе, маршрут которого проходил через посёлок, они быстро добрались до Гурзуфа.

Соня не узнавала бывшего курортного местечка: «Нет, ничего же этого не было», — то и дело говорила она, показывая на новые белоснежные корпуса, возвышающиеся над морем и высоко в предгорьях, среди зелёных пятен леса.

На набережной, на пляже было столько отдыхающих, что Розов и про пальмы «свои» забыл. Он ведь так хотел увидеть то место — не в окошечко увидеть, а на самом деле.

Крепко держа Катю за руку, чтобы не поте-

рялась в толпе, он пыхтел и потел под рюкзаком, шагая за Соней, которая прокладывала путь. Ещё когда вышли из автобуса, Соня спросила: «Куда пойдём?» Розов сразу же ответил: «На набережную».

И вот они шли в густой толпе полуголых отдыхающих. С Розова ручьями лил пот, рюкзак оттягивал плечи, в злой досаде ругал себя: «Осёл навьюченный, так тебе и надо! Правильно и сделала Соня, что сбежала из этого ада...»

На набережной не было никаких пальм, всё пространство оказалось запружено густой колышущейся массой раздетых людей. Розову подумалось, что собрались они сюда со всего света, чтобы поглядеть на его срам. Разочарование он испытывал даже посматривая на синеющие вдали горы, где виднелся, хоть и не родной ему, но — лес, а значит, безлюдье и спасение.

Они выбрались с набережной в город, поднявшись по крутой улочке, потом зашли в кафе — Катя захотела пить.

— Где твоё любимое место? Показывай. Исккупаться бы надо. Ты же говорила, что там всегда свободно... — с некоторым раздражением сказал Розов.

— Для этого надо снова спуститься. Там, за домиком, где жил Чехов, было моё место.

И по узким закоулкам они снова пошли к берегу, то попадая в тупики, то натываясь на глухой высокий забор, — везде море было отгорожено. А на калитках или воротах висели надписи: «Посторонним вход воспрещен». В одном месте, казалось, нашли лазейку: бетонный забор здесь был не так высок, совсем рядом шуршали волны, тянуло прохладой. В просвете между секциями Розов даже разглядел кусок скалы...

— Да, тут где-то, — сказала Соня, но не совсем уверенно: за забором поднималось ввысь многоэтажное здание с длинными лоджиями, оттуда неслась громкая музыка. — Но этого ничего не было, здесь начинался пустынный берег. Сюда я приходила загорать и купаться: не любила на общем пляже.

Розов предложил перелезть через забор — будь что будет, должны же они искупаться, иначе сдохнуть можно. Сказал:

— Сначала я разведую, а потом уж все полезем. Хоть отдохнем немного в воде-то.

Чуть подпрыгнув, Леонид ухватился за верх-

ний край забора, подтянулся, но, почувствовав неладное, спустился на землю. Руки его были испачканы чем-то чёрным, липким.

— Надо же, забор смолой измазали, во дают!.. — растопырив грязные пальцы, стоял он в полной растерянности.

Увидев, что Соня еле сдерживает себя, сам затрясся в мелком смехе, засмеялась и Катя. Пока жена вынутым из рюкзака одеколоном отмывала ему руки, они стояли и хохотали до слёз, поглядывая на злополучный забор.

Вернувшись на набережную, купили в кассе причала билеты до Ботанического сада и сели на маленький теплоходик, курсирующий вдоль берега. На открытой палубе было хорошо, прохладно. Розов смотрел на удаляющийся Гурзуф, вновь и вновь переживая их «пляжную прогулку».

Надолго задумался. «Этого и надо было ожидать. Насмотрелся в «окошечко», по уши залез в раковину, как улитка. А жизнь — вот она, гляди, рассматривай сколько хочешь, не надо и за стеклышко заглядывать... Не найдёшь ты тех пальм, и той Сони не найдёшь, сколько ни ищи, — всё кануло в прошлое... Осталась только хрупкая раковина с остановленным мгновением. И в Ботаническом саду не ищи её следов. Не уподобляйся тем гусям, которые каждое утро и вечер кланяются солнцу. Они-то собой заняты, выклёвывают что-то с земли. Не видят гуси солнца, только со стороны кажется, что они бьют ему поклоны. Да и чего другого ждать от жирных домашних гусей?..

Соня... Принимай её такой, какая есть: нынешней, твоей... Вон как она доверчиво склонилась к тебе на плечо. А с другой стороны — дочь, устала девочка, её уже и море не радует, задремала... Они — твои, только ты за них в ответе...»

Розову неожиданно стало хорошо и свободно, словно он от груза освободился, который томил его долгое-долгое время и от которого он устал.

Отделившись от толпы экскурсантов, сошедших с теплохода, они обошли весь Ботанический сад. Соне здесь все было хорошо знакомо, постояли у могучих ливанских кедров, у бамбуковой рощи, у бассейна с лилиями, где Катя сфотографировала лягушку, сидящую, как царица, на широком плавающем листе. Прошли по пальмовой аллее, побывали в розарии, где почти все кусты были ошипаны.

И уже на выходе — не общем, куда указывали стрелки, а служебном, — Соня показала на двухэтажное здание: «Вот здесь я работала». Розов морально готовился к этому моменту, даже ждал, что с ним что-то произойдёт: ну сердце защежит или ещё что-то. Но его отвлекла Катя: на откосе она увидела кусты с сизыми, почти чёрными крупными ягодами и с криком «малина, малина!» побежала к ним. И почти сразу же с визгом бросилась обратно, показывая взрослую руку со свежей царапиной.

— Осторожно, Катя! Это не малина, а ежевика. На кустах много острых шипов, — поглаживая по голове, успокаивала дочку Соня.

— Скоро мы с тобой настоящей малины насобираем, на Диановой горе... — пообещал тогда Розов.

— Я домой хочу, — впервые за всё время их отпуска сказала Катя.

— Скоро теперь, вот только к тётке маминой съездим и — домой.

Тут Розов спохватился, что он так и не посмотрел хорошенько на дом, где работала Соня. Вернись он сейчас один — не узнал бы, где тот, на который она показывала.

На автобусной остановке, у портика с колоннадой, он, стараясь казаться равнодушным, спросил:

— А что ты нам пальму не показала, под которой стоишь?

— Какую пальму?

— Ту, под которой ты не одна...

— А, вот ты о чём. Увидишь... Скоро увидишь и пальму ту, и парня, что рядом стоит. Это мой брат двоюродный, тёткин сын. Теперь-то, наверно, совсем мужиком стал...

Розову вдруг стало страшно неловко, словно его за каким-то нехорошим делом поймали, и он через силу ответил:

— А... Так вот кто там стоит... А я-то думал...

— О чём ты думал? — удивлённо посмотрела на него Соня.

— Не о чём, а о ком... Ладно, потом расскажу...

К остановке подошёл автобус, и Катя уже бежала к нему занимать места.



1

Уполномоченным подъезда Костю выбрали недавно. Прежнего, жившего на втором этаже старичка, похоронили, подъезд был какое-то время «без власти». Однажды Костя возвращался с работы, припозднился, у фургона за пивом долго стоял. Вошёл в подъезд, а там, где висят почтовые ящики, толпа собралась. Все словно его только и ждали.

— Вот его давайте выберем! Молодой, холостой, энергичный, — звонко пропела Марья Петровна, соседка по лестничной площадке.

«Бе-бе-бе», — хотелось Косте передразнить соседку. Но её тут же все поддержали, и дело было

сделано, толпа быстро разбежалась. Костя даже сказать что-нибудь в ответ не успел. На лестнице остались только он да женщина с портфелем.

— Молодой человек, приходите завтра к шести часам в ЖЭУ, получите инструкции. Вы до какого часа работаете?

— До пяти. То есть до четырёх, но пока добираешься, то да сё...

— Ну и отлично. Самое удобное время, приходите, ждём.

Женщина пошла к выходу, но, приоткрыв дверь, остановилась.

Костя уже бежал вверх по лестнице, авоська с пивом резала руку.

— Молодой человек, вернитесь на минутку. Что-то я ещё хотела сказать, — приложила ладонь к виску, потёрла его. — Ах да! Вот видите дверь?

— Ви-и-жу, — недоуменно протянул Костя.

— Видите, пружины нет. Надо обязательно прибить! Привыкли мы атмосферу отоплять... Достаньте пружину и прибейте. Ваш предшественник, хоть и не говорят плохо о покойнике, был неинициативным товарищем...

— А где я достану эту пружину?

— Где хотите доставайте. Вы где работаете?

— На заводе.

— Ну-у, вам проще. Если уж кандидаты наук, а есть среди уполномоченных и такие, пружины эти достают, то вам сам бог велел. И ещё посмотрите, как грязно в вашем подъезде! Это безобразие: возле мусоропровода — грязь, лестница вся в окурках, стены исписаны, на потолках спички чёрные висят, плафоны разбиты, лампочки перегорели... Нет, вы только посмотрите, — поднимаясь по лестнице, говорила женщина, — вот, вот и вот, — тыкала пальцем. — С чистоты подъезда начинается чистота квартиры, семьи и даже целого общества. Словом, приступайте к работе, вы товарищ перспективный. Мы вправе ожидать от вас многого...

«Я, что ли, окурки эти разбрасываю!..» — хотелось сказать Косте, но авоська с пивными бутылками так резала руку, что пальцы горели, в них чувствовался ток крови. Он что-то промывчал в ответ и кинулся вверх по лестнице, в свою квартиру.

После пятой бутылки пива Костю потянуло в дрему. Но, пересилив, он поднялся с дивана и включил телевизор. В мыслях его, правда вялых,

сморенных, стало зарождаться что-то новое, ранее ему не знакомое.

Тридцать лет ему, до участи бывшего уполномоченного далеко, конец где-то растворялся в будущем, не был виден. Но от цифр никуда не денешься, они неумолимо подсовывали правду: даже если до семидесяти дотянуть, то оставалось не так и много, почти половина уже прожита. «А как же старики тогда живут? Ведь у каждого из них почти ничего не осталось. Но улыбаются, даже песни иногда поют... Жить, зная, что тебе осталось чуть-чуть, жутко!»

Костя зябко передёргивал плечами, наливал в стакан пива и медленно, уже нехотя, пил.

«Если есть конец, то лучше бы тогда совсем не родиться. Но тогда бы он ничего не знал, не пил вот сейчас пиво, не смотрел телевизор... Выходит, что он уже был раз мёртвым, до рождения. Вот ведь как интересно: живёшь — умираешь и не живёшь — умираешь. Нет, что-то тут не так!..» Но что тогда «так» — дальше этого мысль не шла.

Перед его глазами снова встала женщина из ЖЭУ. «Вот она, наверное, знает, что и как, мигом бы объяснила. Чистота начинается с подъезда... Хм, тут что-то есть. Подъезд, въезд, съезд — слова-то все какие, одинаковые и разные. Может, и права она, эта дамочка?»

Ему вдруг представился подъезд чистым — до неузнаваемости, без единой соринки, без единого плевка, с чистыми стенами и потолками, с неразбитыми стеклами, с не оторванными перилами, с люстрами на потолке и даже ковровой дорожкой по ступенькам, как в солидных учреждениях.

А если бы чистота да порядок, то, может, и люди какими-то другими бы стали. Правда, Костя не представлял, какими именно, но что жить стали бы дольше — это точно. Вот ведь как выходит! Может, и права дамочка...

И в каком-то не ясном для себя порыве Костя вскочил с дивана, взял совок и веник, вышел на лестничную площадку и подмёл на ней мусор, чего никогда раньше не делал. Подмести-то подмёл, стоял в центре чистого прямоугольника с веником и совком в руках, но ещё заметнее стал виден теперь мусор вверх и вниз по лестнице.

«Нет, так не годится, — Костя почесал затылок, — надо и других заставить». Он спустился на площадку ниже, хотел позвонить в чью-либо квар-

тиру, но не мог решить, в какую именно. Потоптавшись, решил, что надо всех вызвать на лестницу, весь подъезд, и объявить, чтобы каждый убирал по очереди.

«Вот же как просто: собрать всех и объявить. Но сегодня уже собирались, в другой раз надо...» И Костя сам («на первый раз») решил подмести весь подъезд — прошёлся веником снизу доверху.

В облаках пыли спускался он сверху, как бог Саваоф; теперь по лестнице было любо пройти, давно он не видел её такой чистой. «И делов-то всего на полчаса! А ещё бы лучше вообще не сорить, не кидать окурки и использованные билеты. Урны, дорогие товарищи, для этого есть!»

«Так и надо сделать: призвать всех к чистоте, ведь так это просто!» — и, вернувшись к себе, он на нескольких тетрадных листках ярко вывел красным фломастером: «Дорогие товарищи! Не будем свиньями! Давайте жить чисто, это продлит нашу жизнь!» И размашисто подписался внизу: «Уполномоченный подъезда К.Хорошилов».

Написав три таких объявления, он на клей «Момент» приклеил их на уличной двери — при входе, на своём третьем этаже и последнее — на самом верхнем, у мусоропровода.

«Теперь и внизу, и наверху увидят», — подумал довольный Костя и пошёл допивать пиво.

2

Первые годы после службы, после солдатского житья-бытья в казарме, Косте как-то ещё терпелось в общежитии, но со временем стал уставать, ему надоели и скрипучая койка с тощим матрасом в углу, и тумбочка с косой дверцей, из которой частенько улетучивалось то одно, то другое.

Оставит, к примеру, утром банку сгущёнки, только что вскрытую, едва начатую, после работы захочет полакомиться — глядь, а в банке на доньшке осталось. Конечно, Славка — больше некому! Он сегодня во вторую смену работает, вот и залез в тумбочку. Станешь стыдиться — усмехнётся нагло, да ещё спросит: «А ты плотно закрыл банку, может, усохло?»

Но даже не это тяготило Костю. Чёрт с ним, пусть лопают. Вся жизнь в общежитии была на виду, всегда на людях: и когда спишь, и когда

бодрствуешь, словно вечным транзитом по жизни и нет тебе остановки. Родители у Кости были ещё живы, но жили в деревне, туда ему не было хода. И стал он думать о кооперативке, помаленьку копил деньги. Таким вот образом и оказался он в девятиэтажке.

Жителей своего подъезда он совсем не знал, и когда приходилось сталкиваться с кем-нибудь в подъезде, то здоровался так, на всякий случай, неуверенно, чаще — кивком, ему так же отвечали.

Знакомой была только Марья Петровна — соседка по лестничной площадке, у неё три замка блестели на двери, и она иногда подолгу не могла попасть в свою квартиру, путаясь в хитроумных механизмах, которые, словно играя с нею, так закусывали ключи, что и не выдернешь, — тогда и звала Костю на помощь.

Словом, в новом доме он окунулся в абсолютное одиночество, каждый жилец, как и он, спешил к себе, закрывался, — только через полы и потолки доносились голоса, писк детей. Косте иногда казалось, что живут они в большом скворечнике, разделённом на множество клеток, и что такие разные на улицах, не похожие друг на друга, в этих клетках, невидимые друг другу за многочисленными тонкими звукопроницаемыми перегородками, они становились одинаковыми, как птенцы.

Когда неожиданно под или над ним раздавался мужской голос, Костя вздрагивал, ему казалось, что это он что-то сказал вслух, а что именно и кому — неизвестно.

Пришлось привыкать к такому одиночеству, но иногда ему страшно хотелось вернуться в общежитие, это желание особенно нарастало по вечерам, когда дом постепенно затихал и всё реже и реже гудел лифт за стеной.

«Конечно, жениться бы надо, а то так и состаришься тут один... Помрёшь — и не узнают, будет тебе эта квартира вечным гробом», — думал Костя, лёжа на диване, ожидая сна.

Но он не представлял женитьбу. Как, а главное — на ком? Само это слово его пугало. Честно говоря, не нравились ему современные девушки в штанах. Ну что изменится, если он приведёт такую сюда, поселит? Вместо одного Кости будет два, да ещё вполне вероятно, что один из них курящим окажется, от одной этой мысли Костю в жар бросало.

И смешными ему казались эти «предложения себя» в рубрике знакомств местного еженедельника. «Готова познакомиться с молодым мужчиной высокого роста, обладающим юмором, без вредных привычек...» Вредных привычек у Кости вроде бы не было, кроме той, что пивком иногда любил побаловаться. И ростом его бог не обидел, и сравнительно молод ещё — подходил по всем статьям, устраивая блондинок, шатенок, брюнеток... Но если у них юмор да рост на первом месте, то что же это за девицы?! И он их всех представлял почему-то на одно лицо: приодетые да накрашенные, стоят, как манекены в универмаге, тоскующим оценивающим взглядом смотрят сквозь стекло на вереницы проходящих, выбирают и при этом себя показывают...

Попалась, правда, одна на заметку — «девушка тургеневского типа, с длинной косой» — так и было напечатано в объявлении, но жила она больно далеко, в Одессе. Да и не поверилось Косте... Чего уж хорошего в этой косе, если через всю страну, с юга до севера, её предлагает, — совсем, видно, плохи дела у этой девицы...

Почитав несколько номеров подряд, поухмылялся и больше не стал тратить на этот еженедельник, рекламирующий из номера в номер рыбные консервы, от которых у него и так уж скулы сводило.

Но желанная девушка ему и представлялась именно такой — с косой длинной, из деревенских, не испорченных ещё городской жизнью. И когда Костя собирался в отпуск к родителям, то каждый раз жил потаённой надеждой, что найдет её там, встретит... Пусть она будет хоть коровницей, хоть телятницей, пусть навозом пахнуть будет — не беда. Не это главное. И пусть даже не очень красивой, красота недолго держится, особенно здесь, в городе, быстро вянет, только косметикой её и поддерживают.

Главное, чтоб доброй была... Нет, и не это! Машка Красильникова из инструментальной тоже добрая, всегда ему что-нибудь лучшее из инструмента припасёт. И Зойка-малярша — недавно пошёл с ней на склад, помочь попросила, тяжело одной флягу с краской волочить. Так ведь что вышло: в самый угол завела, он-то сразу заметил, что точно такие же фляги и у выхода стояли. Так нет, завела в угол, а потом вдруг обернулась, когда он споткнулся в

полумраке и её рукой нечаянно задел, — обернулась и сдавленно, с придыхом шепчет: «Нет-нет, не надо...» А сама лицо подставляет, чуть не валится на него... Вот они какие, эти «добренькие». И ведь ничего девка, когда комбинезон заляпанный снимет после смены, вымоется да переоденется, — залюбуешься.

Но нет у них главного, как считает Костя, — чистоты нет, нежности, женственности. Все стараются на эстрадных певиц походить, искусственности в них много, вот чего! Оттого и самостоятельность их какая-то ненатуральная, неестественная, словно каждая под колпаком стеклянным ходит, холодом от неё веет. На старинных картинах да портретах женщины — те много теплее, живее...

Но в деревне он видел тех же городских, «дачников», а доярки да телятницы были уже в годах, семьи имели.

— Где молодёжь-то ваша? — спрашивал Костя у матери.

— А это у вас надо спросить, у городских... Школу кончат и — в эту... как её... в ГПТУ — на маляров да штукатуров. И что вы там все штукатурите да красите?! С нашей улицы все девки туда улизнули... Тебя бы тоже надо спросить: жениться-то думаешь ли? Или бобылем и будешь всю жизнь? Смотри, не зачерствей, к сухой корке мякиш не прилепишь... Квартира теперь, есть место, куда молодую привести. Да и нас бы порадовал. Семья без деток что ствол без веток...

И возвращался Костя из отпуска в город без всякой радости.

3

Утром сильно болела голова, это у Кости всегда так от пива, более крепких напитков он не употреблял. Пока чистил зубы и умывался, вскипела вода, наскоро попил чаю и пошёл на работу.

Сбегая по лестнице, он машинально шарил по карманам, ища талончик на троллейбус. Нашупал пачечку и отдельный, уже использованный, по привычке хотел тут же выбросить, но сунул обратно в карман, хотя на лестнице уже валялось несколько таких талончиков.

Костя искоса посмотрел на объявление, призывно белевшее на входной двери, хотел сорвать его, но бумажка хорошо приклеилась

— сразу не отдерёшь. А к остановке подходил троллейбус, и он махнул рукой, решил вечером соскоблить, после работы.

Кое-как затиснувшись в заднюю дверь, он на одной ноге доехал до своей остановки, соскочил злым и мрачным. Злость вместе с головной болью не проходила до обеда, пока он не выпил в заводской столовой трёх стаканов компота: два — до еды и один — после.

— Ты что-то на жидкость сегодня нажимаешь, — сказал знакомый из цеха, — видно, переборщил вчера?

— Да, пивом накачался. Отметил... Меня, знаешь, вчера уполномоченным подъезда выбрали... — Хотел сказать с иронией, шутливо, но, поскольку был ещё не в себе, получилась хмуро и почти серьёзно.

Мужик шутки не понял, хотя был известным насмешником.

— Кем-кем, — сразу же прицепился, — уполномоченным? Ну поздравляю, это же здорово, упал намоченный... пивом! Ха-ха, — смеялся раскатисто мужик.

«Ну, теперь понесёт, весь цех будет знать! И угораздило же меня ляпнуть», — досадливо морщился Костя.

Работал он в сборочном цехе, на главном конвейере, где начинал ещё до службы в армии, после окончания технического училища. Он знал все операции по сборке трактора, мог работать на любом участке конвейера.

По конвейеру медленно и послушно ползли полусобранные трелевочники, где — только с задним мостом и двигателем на раме, а где уже накрытые сзади щитом. Костя работал сегодня на предпоследней операции — ставил и крепил кабины. После этого на катки трактора натягивали гусеницы, и он своим ходом, грохоча и пуская дым, уходил на обкатку.

К концу смены у Кости то гаечный ключ выскользнет из рук, то кран подъёмный из-под носа уведут, то трос куда-то затеряется, — совсем работа разладилась. Из головы не выходил вечер, до которого совсем немного осталось, — вечер и всё, что будет с ним связано.

Во-первых, эти дурацкие объявления... Как теперь людям в глаза глядеть. Хоть и редко, хоть и не знал — с кем, но приходилось ему встречаться и здороваться с соседями по подъ-

езду. Человек трёх-четырёх он даже помнил. Мужчину с первого этажа, к примеру. Ну, этот — ладно, не просыхает почти, ему хоть афишу на нос вешай — не отреагирует. Молодую женщину ещё запомнил, Костя коляску иногда помогал спустить по лестнице. Так... Ещё мужик с верхнего этажа, холодильник к нему затаскивали, когда лифт не работал. Ничего вроде бы мужик. Да ещё Марья Петровна, соседка. Вот и все, пожалуй. Кстати, этих, кроме Марьи Петровны, и не было вчера на площадке.

«Вот тоже... — сокрушался Костя. — Ведь мог же вчера многих заметить и запомнить. Но так быстро все разбежались, что только дамочка из ЖЭУ и осталась в памяти».

Вот тут-то и начинается «во-вторых»: стоит идти в ЖЭУ или не стоит? Обещания вроде бы не давал. Конечно, лучше не идти! Какие там ещё инструкции, ну их к чёрту!

Но, выйдя из троллейбуса и уже к дому подходя, Костя повернул в сторону ЖЭУ, которое находилось через улицу. Ни в одном из кабинетов, куда заглядывал, вчерашней знакомой не оказалось. «Вероятно, где-нибудь опять в подъезде», — отметил про себя. Собрался уже уходить, но тут его поманил пожилой мужчина, сидящий за столом прямо в коридоре.

— Вы кого ищете? Если талоны получать, то — пожалуйста, предъявите вашу книжечку...

— Нет, меня вчера уполномоченным подъезда выбрали, сказала... одна дама, чтобы я за инструкцией пришёл.

— Э, какие там инструкции! Это, наверно, Софья Николаевна всё выдумывает. Вам, значит, на весь подъезд полагается. Сколько жителей у вас в подъезде?

— Я, собственно, не знаю, не считал ещё...

— Вам тогда нужно пройти по квартирам, переписать всех, а потом я выдам вам талоны. Всё просто, — развел руками мужчина, — зря не волнуйтесь. Сегодня вряд ли успеете. Приходите завтра, в это же время.

«Вот новости, — подумал Костя, выйдя из ЖЭУ. — Раньше я эти талоны сам получал — и на мясо, и на масло. Не было печали!..»

На входной двери его объявления уже не было: кто-то соскрёб — остались лишь пятнышки. «Слава богу, — облегченно вздохнул Костя, — мир не без добрых людей. Теперь надо на

последний этаж подняться, сорвать и там. А на своем третьем — там уж не стыдно, там хоть и оставить можно».

Лифт опять не работал, хотя призывно горели на всех этажах кнопки. Лестница на удивление была чистой, только в некоторых местах топорщились бумажки, не было мусора и вокруг люков мусоропровода.

«Значит, всё же подействовало!» — изумлённо подумал Костя, поднимаясь всё выше и выше по лестнице. Чувство благодарности зарождалось у него в груди неизвестно к кому, ведь он ещё не знал всех жильцов своего подъезда. Когда поднялся на верхний этаж и перевёл дух, то увидел, что и там объявление сорвано.

Он быстро спустился вниз, стал уже открывать дверь своей квартиры, как из соседней вышла Марья Петровна.

— Здравствуйте, Константин Егорович.

«Господи, откуда-то и отчество знает, вроде бы так близко не знакомились», — мелькнуло в голове Кости.

— Здравствуйте, Марья Петровна.

— Милый мой сосед, вы хорошо начали, но, как я полагаю, круто повернули. Я имею в виду ваши записки, что вы оставили нам, — ответила на недоуменный взгляд Кости Марья Петровна. — Всё это хорошо, к чистоте приучать надо, особенно детей. Но вы несколько погорячились, — лицо её расплылось в немного смущённой, но вместе с тем и несколько осуждающей улыбке. — Да-да, когда упомянули свиней... Я понимаю, что бывают случаи и обстоятельства, когда о вещах, особенно неблагоприятных, нужно говорить прямо. Но часто до сердец быстрее доходит как раз обратное. Я всю жизнь проработала в театре, правда, далеко не на первых ролях, потому и подчеркиваю это слово «проработала», а не про... а не «играла», я бы могла и так сказать. Таким образом, милый вы человек, назидание должно быть подано в соответствующей форме. Словом, я сорвала ваши записки, вы уж извините... Поняла, что вы маленько погорячились, я ведь видела, как вы подметали лестницу, — лукаво погрозила Марья Петровна пальчиком. — Кто, думаю, веником машет... А это вы. Метод, прямо скажем, не совсем подходящий. С людьми нужно работать терпеливо и настойчиво...

— Марья Петровна, вы одна живёте? — спросил Костя.

— Да, с некоторых пор я живу одна. Муж мой, тоже работник театра, однажды уехал на гастроли, да так и не вернулся... А, собственно, что вам нужно, почему вы об этом спрашиваете? — вдруг забеспокоилась соседка. — То, что квартира у меня двухкомнатная, так это в порядке вещей. Я...

— Да нет, не беспокойтесь, — перебил её Костя. — Мне талоны на всех получать надо, вот я и спрашиваю.

— Ах вот оно что! Одна... К сожалению, одна. Но мне четыреста граммов масла вполне хватает. Я и так уже, видите, несколько подобрела... — Марья Петровна провела по широкой и высокой груди ладошкой, на нескольких пальцах сверкнули в полумраке кольца и перстни.

— Заходите, молодой человек, я всегда буду рада видеть вас, — и Марья Петровна величаво скрылась за дверью.

«Ну, с Марьей Петровной мы не пропадём», — весело подумал Костя, входя в свою квартиру.

4

Вечером Костя долго не мог решиться: топтался в прихожей, хотя время поджимало, по телевизору уже колыбельную малышам пропели, программа «Время» отзвучала, детектив начался.

«Люди кино смотрят, а я — «извините, здравствуйте!» — записать мне надо, сколько тут вас живёт? Но если до утра ждать, то ещё хуже, утром не всех уловишь... И выходило, что идти надо. Масло людям нужно, мясо, а талоны ему получать».

И Костя пошёл, начал с верхнего этажа, с того мужика, кому холодильник поднимали.

Мужик приветливо пригласил: «Входи, входи, не стесняйся». И это «не стесняйся» как-то взбодрило Костю. В любом деле важно начать, решиться, с места тронуться. Не зря же говорят: начало — это уже полдела. Во всех квартирах была одна и та же «музыка»: гремели выстрелы, скрипели тормоза, раздавались вопли и крики, — и Косте стало казаться, что открывают ему одни и те же люди, только меняющие каким-то образом своё обличье на то время, пока разговаривали с ним.

Дело шло хорошо, как на конвейере, список его рос, только в одном месте случилась небольшая заминка — в квартире бывшего уполномоченного.

Старушка осталась одна, но просила, чтоб записал он якобы их двое.

— А это зачем же? — неуверенно начал сопротивляться Костя, стараясь при этом не обидеть старушку.

— А затем, чтоб мне два талона дали. Смотри, всё по закону, — показала она книжку на квартплату, — старик мой ещё не выписан, так ты и из списка его не вычёркивай. Дальше видно будет, а пока он жильцом значится, плату за него внесла...

— Так ведь он же, бабушка, умер, нет его, это как-то противозаконно.

— Ты меня законам не учи, сама в нотариальной конторе всю жизнь отработала, законы знаю... — Старушка вдруг сморщила лицо, заплакала. — Мне не так талоны нужны, хотя и они нужны: на сороковой день народу-то знаешь сколько наберётся! Мне старик-то всё живым кажется, всю жизнь вместе... Я чай сажусь пить и ему чашечку наливаю, хлебца кусочек маслицем ему намазываю, любил он, чтоб маслице было на хлебе, да ещё вареньица сверху накаплет, такой был сладёна... А ты как вычеркнешь его из списка, так и не будет у меня старика... Дальше-то видно будет, а пока ты уж не вычёркивай.

— Ладно, бабка, живите, — и Костя записал, что в квартире № 8 живут двое.

Обойдя квартиры (не открыли только в двух, вероятно, дома никого не было), Костя теперь знал, вернее, почти знал весь «личный состав» подъезда. Правда, в лицо он видел далеко не всех, в прихожую выходили обычно хозяйки, остальные либо выглядывали на какие-то мгновения из комнат, либо вовсе не показывались. И заметил ещё Костя, что в квартирах, где были дети, первыми выбегали на звонок они, с любопытством поднимали головёнки. «Вот тебе и спокойной ночи, — подумал Костя, — зря Хрюша старается».

В две запертые квартиры Костя решил зайти завтра, сразу же после работы, а потом уж идти в ЖЭУ за талонами. С этим он и лёг спать.

5

Костя уже и забыл о дамочке из ЖЭУ, но вскоре она сама напомнила о себе: пришла к нему вечером с какой-то женщиной.

— Вот, товарищ Хорошилов, знакомьтесь: главный редактор телевидения. Хотят фильм о вашем подъезде снимать, так что смотрите...

— Нет, я не главный редактор, — перебила её, приятно улыбаясь, женщина, — и не фильм снимать будем, а хочется сделать передачу, условно она пока называется «Наш дом». Вот и решили взять ваш подъезд, первый. Со всем домом, как вы сами понимаете, нам не справиться... Собраться, посидеть, поговорить за чашечкой кофе... Хочется, чтоб вышла живая передача, вы уж помогите нам, пожалуйста.

— А чем же я могу помочь? — спросил Костя.

— Это уж не ваша забота, товарищ вам всё скажет, — сказала дама из ЖЭУ.

Она сидела за кухонным столом: в комнате было не прибрано, и Костя пригласил посетительниц на кухню. На её коленях лежал пухлый портфель, и дамочка непрестанно копалась в нём, перебирала какие-то бумаги, изредка вскидывая голову.

— Большой помощи от вас и не требуется, так... Вдохновить людей нужно, поднять, увлечь, может быть, некоторых и поугovarивать придется. Хотелось бы за общим столом живыми их показать, ну так, знаете, по-семейному...

— Вот-вот, — вставила дамочка.

Костя прошёл по квартирам, сказал всем, что их подъезд будет снимать телевидение, чем вызвал у одних восторг, у других — страх, у третьих — непонятное какое-то злорадство.

— Они бы лучше очереди у магазинов засняли! Построили такой микрорайон — на пятьдесят тысяч, а ни дома культуры, ни ресторана, вечером пойти некуда! Едешь к чёрту на кулички. Хорошо — здоровым, а больным как? — такой вопрос задал ему хозяин тридцатой квартиры.

— А больным не до этого, им по ресторанам некогда разгуливать! — прикрикнула на него жена.

— Опять разошлась! Я ведь и говорю о том, что больных много, а поликлиники нет. А в магазинах что творится! Всего два на такой район, это же думать надо!..

— Вот вы и скажите об этом за общим столом, — предложил Костя.

— Ага, скажешь! Так дадут по шапке, что и до своего стола потом не доберёшься...

— Ну, разошёлся! Тебе да по шапке? Сиди уж... Не слушайте вы его, сам не знает, что говорит, — сказала женщина, закрывая за Костей дверь. И он решил, что в эту дверь телевидению вход закрыт. Но сильно ошибся.

Женщина с телевидения, которую он сопровождал, когда делали второй «обход», так ласково улыбалась, такие слова находила, что и отказать ей в чём-либо было невозможно. Вот и этот строптивый мужик деловым оказался! У него было много всяких поделок из дерева, разных вещей из корневищ, капа — всё это он выставлял и выкладывал на стол, на пол, доставая одну штуку за другой, залезая на антресоли, роясь в шкафу.

И жена его показала Косте другой: теперь она с нескрываемой гордостью смотрела на мужа, показывала, какие антресоли тот сделал, как кухню обустроил.

С этой квартиры и начали телевизионщики работу, сняли мужа и жену, их детей — мальчика и девочку.

— Мы потом эти кадры вмонтируем в передачу, — объяснила, улыбаясь, женщина.

По её задумке ведущим должен быть обязательно кто-то из самих жильцов. После некоторых уговоров согласилась на эту роль Татьяна — девушка из девятнадцатой квартиры, голубоглазая блондинка с нежным румянцем и стеснительной улыбкой. Для Кости это было неожиданным открытием, он и не подозревал, что такая красавица живёт в их подъезде. Может, мельком и видел когда-то на лестнице. Да ведь мельком что заметишь!

6

За общим столом соседи собрались в столовой, которая стояла недалеко от дома.

Под ярким светом софитов сиял большой самовар, поблескивали чашки, смущённо улыбались, украдкой поглядывая друг на друга, принаряженные жители подъезда. Торты, пироги, рыбники, калитки, печенье — всё это настряпали сами участники, столы прямо-та-

ки ломились от угощений. Откуда-то и продукты нашлись для такого случая!

К закрытым шторам на окнах были прикреплены рисунки. Да, нашёлся и художник в их подъезде — десятиклассник Дима Новожилов из двадцать восьмой квартиры. Мало того, на вечере присутствовал настоящий поэт, жил он с женой в пятнадцатой. Костя век бы не подумал, что это поэт, обыкновенный мужик с обыкновенным лицом, только что лысый да мешки отёчные под глазами — мало спит, наверное, и много кофе пьёт. «Работа такая...» — решил Костя.

Заметно волнуясь, Татьяна предоставила слово поэту. Звонкий голос её переливчато зазвенел над правым ухом Кости — вышло так, что сидели они рядом.

Поэт, часто вытирая платочком пот с лица, прочёл стихи. Потом Татьяна предоставила слово ветерану: поднялся мужчина из четвёртой квартиры, во дворе он всегда ходил с тросточкой. Оказалось, что воевал он лётчиком, сбил несколько самолетов на Карельском фронте, был ранен, «но остался, как видите, жив». Ему тоже похлопали.

Дальше Татьяна объявила, что семья из одиннадцатой квартиры (назвала по имени и отчеству каждого) споёт свою любимую песню. И зазвучала под баян песня про дороги, пыль да туман. Играл и пел хозяин с полным лицом, пела его жена — невысокая женщина в сером строгом костюме с пышной причёской, пели дочь с зятем — совсем ещё молодые.

С тихим шумом двигались две камеры, одна была нацелена на первый ряд, вторая — на другой. В какой-то момент Костя почувствовал, что объектив камеры нацелен на него, окаменел, но тут же вспомнил, что вести себя надо как можно естественней, — об этом очень всех просила женщина с телевидения. Тогда он расслабился, краем глаза посмотрев на Татьяну.

«Интересно, вместе нас оператор снимает или порознь?» — подумал он и чуть-чуть наклонился в её сторону. Микрофон серебристо отсвечивал возле Таниной чашки, и Костя даже кашлянуть лишний раз боялся.

Следующим номером было выступление соседки Марьи Петровны. Напудренная, напряжённая, она встала из-за стола, на розовой кофте ярко поблескивала крупная брошь, гла-

за её тоже светились. С вдохновением она спела несколько романсов, готова была петь и ещё, но Татьяна взяла микрофон (время передачи было строго ограничено) и объявила танцы. Громко заиграл приглашённый ансамбль, заранее выстроившийся в ожидании. И так как Татьяна продолжала стоять, положив микрофон на стол, то поднялся и Костя, а вышло так, словно он пригласил её на танец.

Они вышли на свободное место, поближе к играющим, которые так старались, что хоть уши затыкай. Это и спасало пока Костю, разговаривать о чём-либо было невозможно. Он только глядел на улыбающееся лицо Татьяны и сам чему-то улыбался, ему и впрямь стало легко и весело.

Татьяна споткнулась об один из кабелей, которые тёмными змеями вились по полу от входных дверей к обеим камерам. Тогда Костя плотнее прижал её к себе, его бросило в жар, он чувствовал, что на верхней губе, на усах выступили капельки пота. В таких случаях у него и нос покрывался капельками, но, для того чтобы достать платок, нужно было отстранить Татьяну, а на это он ни за что бы сейчас не согласился.

Камера крутилась, двигалась, наплывала, всё выискивая кого-то, шаря объективом по танцующим. А Косте в этот миг казалось, что теперь он нашёл! Самое дорогое нашёл для себя. И люди, что танцевали вокруг, казались близкими, родными. Косте казалось, что жизнь его теперь будет совсем другой, не похожей на прежнюю.

Не только участники съёмки, но и весь четырёхподъездный дом притих в ожидании передачи. О её выходе в эфир объявили и женщина с телевидения, и дамочка из ЖЭУ, и телепрограмма в газете: в пятницу с 18-20 до 19-00.

В подъезде в эти дни ожидания было на удивление чисто, хозяйки даже «ничьи» окна в лестничных пролётах вымыли, словно по телевизору покажут и сам подъезд.

Дом действительно показали сначала весь, издалека, потом он приближался, рос на экране, уже не вмещаясь, и наконец камера уткнулась в окно с открытой форточкой в тридцатой квартире.

Показали комнаты, антресоли, ванную... Потом крупным планом — поделки, их творца и его хозяйку. Они шевелили губами, но их не было

слышно, а за кадром говорил кто-то невидимый хорошо поставленным дикторским голосом.

Дальше и чаепитие в столовой показали: сначала тоже общий план, потом мелькали торжественные и радостные лица сидящих за столом, лица и фигуры выступающих. Костя и себя увидел, даже голос свой услышал, которого не узнал: если бы параллельно его лицо не появилось на экране, и не подумал бы, что это он говорит.

В одном кадре вместе с Татьяной их так и не показали. Даже когда они танцевали, оператор наводил камеру то на одного, то на другого: Костино лицо — «какое же дурацкое!», а лишь потом она — «такая милая!» Словно их разделяла какая-то стена. Костя был не то чтобы разочарован, но ему стало как-то неловко, словно он обманул кого-то, в том числе и себя. И было ещё такое чувство, что у него что-то отняли: там, в зале столовой, когда погасли софиты, сразу стало как-то скучно и сумрачно, хотя гудели под потолком и на стенах лампы дневного света. Под конец, когда Костю осаждала откуда-то вынырнувшая дамочка из ЖЭУ, Татьяна ушла, а ему так хотелось проводить её...

Пойти же к ней просто так он не решался, да и была она из той квартиры, в которой ещё ни разу перед ним не открыли дверь, хотя звонок — слышно же! — работал исправно.

Костя знал теперь, что Татьяна работает научным сотрудником в институте языка и литературы, ездит по деревням, собирает фольклор и ред-

ко бывает дома. Когда, проходя мимо, он смотрел на необитую дверь её квартиры без «глазка», с одним замком, знал, что за нею пусто, — никого там нет, иначе бы он чувствовал её присутствие. Костя знал и о том, что хозяйка рано или поздно вернется, ведь это её подъезд, её дом.

Соседям передача понравилась, они приветливо здоровались с Костей, словно он организовал съёмку, его останавливали, говорили о том о сём, иногда даже заходили к нему.

Верхний мужик, к примеру, позвал Костю на рыбалку. Старушка из восьмой квартиры пришла и весело ему доложила: к ней скоро приезжает внучка, будет учиться в медицинском училище, она пропишет её у себя, и теперь уж по полному праву им надо будет давать талоны на двоих.

Умелец из тридцатой квартиры предложил площадки для детских колясок переоборудовать в кладовки: ведь всё равно ж пустуют. Мол, и пацаны посторонние («эти длинноволосики») не будут собираться, курить да плевать, да распиывать бутылки. Хотя сосед тут же и посетовал: «А куда им идти? Ни дома культуры, ни ресторана нет в таком большом районе».

— Будет. Со временем всё будет, — успокаивал его Костя, ему самому хотелось верить в это будущее, в которое заранее вкладывал частицы и своих потаённых пока надежд.

□

Виктор Владимирович СЕРГИН (02.10.1939 — 19.05.1998)

родился в д. Мянсельга Кондопожского района Карелии.

Поэт, прозаик.

Окончил Литературный институт им. А.М. Горького.

Член Союза писателей России (1977).

Заслуженный работник культуры Карелии (1988).

Автор шести поэтических книг.

С 1975 по 1989 г. работал литературным сотрудником, а затем заведующим отделом поэзии журнала «Север».

